

## XV

### ОТ ПОЛИТИКИ К НАУКЕ

Ничего не может быть хуже для политического лидера, сказал как-то Плеханов, чем попасть в плен доктринерства. Наилучшим доказательством этому послужила его собственная история. Неспособность привести свои взгляды в соответствие с российской действительностью, которую выявила революция 1905 года, превратила последние десять лет его жизни — во всяком случае, в политическом отношении — в томительный, болезненный и, в некотором роде, бессмысленный эпилог. О его деятельности в годы революции некоторые радикалы говорили, с сожалением покачивая головами: «Плеханов уже не тот, что прежде». Его попытки опровергнуть такие оценки лишь подтвердили, что он не изменился. Однако изменились сами времена. В сфере политики Плеханов предложить уже ничего более не мог.

Быть может, он втайне это сознавал и потому попытался направить свои силы в более плодотворное русло. Так или иначе, но в 1908—1914 годах, а также после начала I мировой войны, внимание Плеханова все более поглощали художественные и литературные, исторические и философские занятия. Несомненно, все они имеют и политический смысл, поскольку представляли собой попытку доказать превосходство марксистского метода как средства просвещения людей, понимания общественной жизни и мысли. Тем не менее, одновременно они служили признаком некоторого ослабления интереса к непосредственной политической деятельности и, соответственно, повлекли за собой сокращение числа произведений партийно-политической тематики. Более того, его политические произведения того времени сами по себе представляют сравнительно небольшой интерес. Поэтому при анализе этого периода жизни мы лишь коснемся превратностей политической судьбы Плеханова и перейдем к анализу разнообразных научных трудов.

Расстановка сил в России, в 1905 году сложившаяся в пользу оппозиционных сил, в последующие годы резко изменилась в неблагоприятную для них сторону. Запоздалое объединение вокруг престола кон-

сервативных и реакционных групп, нейтрализация умеренных элементов путем расширения границ реформ и, прежде всего, возвращение армии с Дальнего Востока — все это укрепило позицию царского правительства. В порыве необычайной активности оно безжалостно подавило остатки волнений и центров оппозиции и подготовилось к борьбе за отмену, или хотя бы возможно более строгое ограничение тех политических реформ, на которые вынуждено было пойти. Сплотив ряды своих приверженцев и получив в качестве помощи крупный заем от своего союзника Франции, позволивший сохранить независимость от Думы, царизм вновь сумел подавить оппозицию.

Николай II произвел нечто вроде государственного переворота перед созывом Первой Думы, единолично наметив конституционную структуру нового политического порядка. Он распустил и Первую, и Вторую Думу, когда они проявили непослушание. Затем, грубо нарушая законы страны, царь объявил об изменениях в избирательной системе, в соответствии с которыми сокращалось представительство либеральных и радикальных партий. В качестве положительной меры министр внутренних дел П. А. Столыпин подготовил программу аграрной реформы, направленной на превращение хотя бы части крестьянства из мятеежной силы в оплот стабильности. С народными избранниками в Думе не церемонились; страна покрылась виселицами для казни крестьян; радикальные политики были загланы в тюрьмы; но поскольку революционный дух в массах почти погас, оппозиция уже не могла противостоять правительству. В обстановке деморализации начался массовый исход из революционных партий, которые, когда успех казался таким близким, росли на удивление быстро.

Социал-демократическая партия страдала не только от сокращения числа своих членов и ареста многих ведущих революционеров. Так называемые «экспроприации» (ограбления банков и т. п.), предпринятые боевыми отрядами большевиков с целью финансирования деятельности партии, запятнали ее имя не только в глазах членов партии, но и за ее пределами. Кроме того, хотя партия сократилась чуть ли не до уровня, позволявшего ей числиться только на бумаге, борьба за власть в ней продолжалась с прежним рвением. Процветали интриги, а макиавеллизм, к стыду и отвращению наиболее идеалистически настроенных социал-демократов, достиг ранга высокого искусства. В довершение, в РСДРП возникали всякие неожиданные течения: направленное на упразднение подпольной организации — «ликвидаторство»;

«богостроительство» — попытка философского сочетания марксистской политики с более солидной духовной метафизической основой; и «отзовизм» — движение за отзыв и тех немногих депутатов, что представляли социал-демократическую партию в Государственной думе. Все это создавало новые предпосылки для ожесточенной внутрипартийной борьбы, новых расколов и взаимного отчуждения тех, кто продолжал называть друг друга товарищами, но при этом осыпал бранью. Но и в этот период предпринимались неоднократные попытки оторвать враждующих социал-демократов от разлагающего их сектантства и объединить разрозненные силы на новую борьбу.

В первое время после революции Плеханов все еще продолжал свой бой с большевиками. Если, упорно повторял он, ошибочная тактика в лагере оппозиции во многом способствовала поражению революции, то ленинская фракция виновата в этом более всех. Он поочередно называл большевиков то бланкистами, то бакунистами, то анархистами и постоянно возвращался к критическому и часто проницательному анализу их деятельности. Изменение тактики большевиков он считал основным условием для подлинного воссоединения партии — задачи, которая поглощала его силы более всех других в те годы. На короткое время значительно укрепились и личное положение Плеханова, одновременно увеличив возможность выполнения его главной задачи. Направленная в адрес большевиков критика косвенно, а иногда и прямо, затрагивала и значительную часть (а по словам одного из них — Даны, и значительное большинство) тех меньшевиков, которые в годы революции шли за Троцким. После революции произошел общий отход от троцкистской позиции. Большая часть меньшевистской фракции вновь присоединилась к Плеханову и Аксельроду, таким образом, негласно признавая правильность ранее порицаемой ими тактики Плеханова. Поддержав Плеханова, меньшевики отошли от подготовки «преждевременного» восстания и обратились к болеезвешенной политике, намереваясь, как и он, упрочить достигнутые завоевания, опробовать открывшиеся возможности для создания организации и развития классового сознания пролетариата. Они охотно участвовали в создании профсоюзов и кооперативов и проявляли живой интерес к деятельности социал-демократической фракции в Думе. В то же время, меньшевики признавали необходимость оказывать поддержку и, если в этом была необходимость, сотрудничать с либералами, когда те выступали за проведение прогрессивных мероприятий.

Тогда на какое-то время изоляция Плеханова прекратилась. Вместе с меньшевиками он мог продолжать кампанию, направленную на то, чтобы заставить большевиков отказаться от непродуманной тактики, что могло бы стать прелюдией к объединению партии. Однако его удовлетворение оказалось эфемерным. Такие лидеры меньшевизма, как Мартынов и Дан, вместе с множеством его рядовых членов отошли от троцкизма, но недолго оставались и плехановцами. Объединившись с Аксельродом и Потресовым, они занялись разработкой вопроса о новом организационном устройстве партии, с положениями которой Плеханов согласиться не мог. Именно эта группа явилась инициатором так называемого «ликвидаторства», вокруг которого и развивалась большая часть внутрипартийной борьбы того периода.

Оскорбительный термин «ликвидаторство», пущенный в оборот Лениным, в последнее время критиковался как фикция, не имевшая объективных оснований и задуманная с целью привлечь сторонников<sup>\*</sup>. Если под «ликвидаторством» понимать стремление полностью покончить с партией как нелегальной, подпольной организацией, то такая позиция имеет определенный смысл. Однако трудно понять, каким образом можно отрицать существование самой тенденции. Настроения меньшевиков до 1905 года, разочарование в тактике, которую многие поддерживали во время революции, неприятие «экспроприаций» и грязных внутрипартийных свар и стычек, связанных с борьбой за власть,— все вместе взятое способствовало развитию такой тенденции.

На II съезде и после него неприязнь меньшевиков к подпольной партии профессиональных революционеров проявилась достаточно четко. Аксельрод и другие неустанно призывали развивать «самодействительность» рабочего класса, конечной целью которой они считали создание подлинно пролетарской партии. Отход многих меньшевиков от политики 1905 года укрепил эту позицию и стал признаком отказа от всякой надежды на возобновление революции в ближайшем будущем. Конспиративная организация годилась для подготовки вооруженных восстаний, но плохо вписывалась в тактику, к которой перешли теперь меньшевики. Использование уже завоеванных возможностей для создания сильной организации рабочего класса предполагало, в основ-

\* Schapiro L. The Communist Party of the Soviet Union. New York, 1960. Ch. 6. Значительная часть материалов, представленных автором в этой главе, опровергает это положение.

ном, легальную деятельность, которая заложила бы основу для создания истинно марксистской, т. е. пролетарской, партии, гораздо более приемлемой, нежели та дискредитированная себя организация рациональной интеллигенции, называвшая себя партией пролетариата. Зачем восстанавливать то, что стало объектом презрения; почему не начать заново и постепенно построить нечто, достойное пролетариата и более пригодное для достижения его целей? На таких оценках и размышлениях было замешано «ликвидаторство». Кроме того, нельзя забывать, что большевики в те годы большей частью контролировали Центральный Комитет партии и, как правило, чаще всего и подпольные организации. При таких обстоятельствах «ликвидаторство» выступало как попытка меньшевиков разорвать организационные связи, превратившиеся в невыносимые путы; если бы они остались в партии и продолжали подчиняться ее дисциплине, то вынуждены были бы действовать вопреки своим убеждениям.

Среди составных частей ликвидаторства были и элементы багажа самого Плеханова\*. Тем не менее, его ярко выраженное отрицательное отношение к этому направлению не составляет загадки\*\*. «Ликвидаторство» просто противоречило его общим взглядам на ряд критических моментов. Прежде всего, новый «уклон», по-видимому, отрицал идею революции. В этом отношении его можно считать логическим развитием тактических положений Плеханова, которое сам он делать

\* В письме к Аксельроду в начале 1907 года Плеханов говорил о «неизбежности» (окончательного) разрыва с большевиками. Год спустя он обсуждал возможность меньшевиков покинуть «так называемую партию» (Переписка Г. В. Плеханова и П. Б. Аксельрова. Т. 2. С. 229, 250).

\*\* Так это описывает Шапиро (см.: Schapiro L. Указ. соч. С. 115). Хотя Плеханову и соображениям дохристианства было более, чем достаточно, для неприятия «ликвидаторства», определенную роль играл и личный фактор. Как член редколлегии группы меньшевиков, занятой подготовкой пятитомного издания «Общественное движение в России в начале XX века», он вступил в острый конфликт с Потресовым. Последний, которому было поручено осветить историю развития марксизма, уделил роли Плеханова гораздо меньше места и внимания, чем тот считал уместным. Кроме того, подчеркивая роль Струве и «легального марксизма», Потресов, как утверждал Плеханов, проявил недопустимое «ретроспективное ликвидаторство». В этом споре Плеханов продемонстрировал те же эгоизм, вспыльчивость и нетерпимость, что шокировали некоторых российских социал-демократов во время прежних внутрипартийных конфликтов (см. ст. «О моем секрете» // Плеханов Г. В. Соч. Т. 19; материалы об этой борьбе содержатся там же; кроме того см.: Переписка Г. В. Плеханова и П. Б. Аксельрова. Т. 2. С. 267–283).

отказывался. Если пролетарской революции в ближайшем будущем следует избегать, и если социал-демократы должны оказывать тактическую поддержку буржуазии, для которой революция неприемлема, то невозможна революция любого рода. Следовательно, подпольная организация не нужна, и социал-демократы могут посвятить все свои силы легальной деятельности. Однако Плеханов, критикуя эту позицию, отмечал, что события 1905—1907 годов фактически не дали РСДРП возможности выступать открыто в качестве политической партии из-за непрекращающихся преследований со стороны царского правительства. Таким образом, у нее не было выбора,— если она не собиралась совершить самоубийство,— и оставалось только продолжать подпольное существование<sup>1</sup>. В более широком смысле можно сказать, что Плеханов налил вино, но отказался его пить. Как бы сильно ни влекла его логика собственных положений, он был так тесно связан с революцией, что не мог от нее отказаться. Один из его лозунгов того периода гласил: «Да здравствует меньшевизм без ликвидаторства, то есть, революционный меньшевизм»<sup>2</sup>.

Кроме того, «ликвидаторство» слишком напоминало Плеханову ревизионизм, чтобы он мог относиться к нему спокойно<sup>3</sup>. Если, после разрыва с Лениным, он стал терпимее относиться к «экономистам», то это отнюдь не означало изменения его отношения к их «заблуждениям». Развитие самодеятельности рабочих было в высшей степени желательно, но, оставшись без сильного социал-демократического руководства, не пойдет ли оно по линии наименьшего сопротивления, ограничиваясь лишь экономической борьбой? «Ликвидаторство», как понимал его Плеханов, несло в самом себе семена ревизионистского оппортунизма<sup>4</sup>. Здесь, казалось, опыт 1905 года вновь подорвал его веру в рабочий класс. Как минимум, Плеханов явно считал его недостаточно зрелым для проведения последовательной «здравой» политики без руководства извне. Он полагал, что его противники не уделяют достаточно внимания этому обстоятельству. Кроме того, с «ликвидаторами» он связывал отход к некоординированным, примитивным методам работы периода «экономизма». Когда отдельные личности и группы берутся за работу без подготовки планов, обозначения целей и создания центральной организации для совместных действий, хаос не-

<sup>1</sup> Действительно, Плеханов называл «ликвидаторство» одной из «разновидностей ревизионизма» (Плеханов Г. В. Соч. Т. 19. С. 83).

избежен. Разве такой стиль работы может приблизить движение к осуществлению его задач?

В лучшем случае, считал Плеханов, ликвидаторство может способствовать расколу. Все, кто пробуют следовать указаниям ликвидаторов, смогут легко убедиться на опыте в необходимости подпольной организации. Практики, работающие на местах, осознают необходимость централизованного планирования; и они не могут не отдавать себе отчета в том, что условий, необходимых для легального существования партии, пока нет. И, если при этом они продолжают игнорировать уже существующую подпольную партию, им придется основать вторую. Поэтому если «ликвидаторству» удастся избежать опасностей оппортунизма и хаоса, то оно добьется того, что раскол в партии станет окончательным, принеся неисчислимые потери пролетариату. Этот новый уклон неизбежно должен был вызвать неприятие Плеханова, рассматривавшего сохранение единства партии как *sine qua non* [обязательное условие — лат.]. Все искренние и разумные социал-демократы, полагал он, желают перестройки партии таким образом, чтобы обеспечить проведение правильной (т. е. меньшевистской) тактики. Но они совершают достойную сожаления ошибку, когда, из неприязни к выходкам большевиков, покидают партию. Перестройку нужно осуществлять не уходом из партии, а завоеванием власти в ней\*.

Плеханов утверждал, что заметил склонность к «ликвидаторству» среди меньшевиков еще во время Лондонского съезда партии в середине 1907 года\*\*. Он дал отпор его представителям на закрытом собрании меньшевистских руководителей и получил явную поддержку большинства. Но лишь два года спустя, когда, по его словам, число сторонников «ликвидаторства» возросло настолько, что это стало представлять угрозу самому существованию партии, он считал нужным выступить открыто. Только благодаря неукоснительному соблюдению своего тактического соглашения с меньшевиками, Плеханову уда-

\* Большая часть этих идей уже присутствовала в его первой статье против «ликвидаторов» (см.: Там же. С. 5—20).

\*\* Фактически Плеханов обратил внимание на нечто подобное еще в 1905 году. В то время он критиковал меньшевиков за недопустимый уровень децентрализации. Они напоминали ему ширму из сказки, которая ночью выбросила в окно бесчисленные кусочки материи, а утром нашла полностью сшитое платье. Меньшевисты, утверждал он, готовы разорвать свою организацию на клочки, но при этом они не получат ее в целом вице утром (Там же. Т. 13. С. 317—318).

лось так долго откладывать этот шаг, предпринять который было чрезвычайно трудно. Ибо, направляя стрелы против «ликвидаторства», он вновь отрывался от основного ядра фракции меньшевиков, тем самым вновь обрекая себя на изолицию. Вряд ли он предпринял бы такой шаг, если бы не считал опасность очень серьезной. Впоследствии, в ответ на этот извечный призыв Плеханова, противники прозвали его «бардом подполья».

Война Плеханова против «ликвидаторства» выявила частичное сопадение его взглядов с позицией большевиков. Критическое отношение к их тактике не ослабело, но в те годы реакции он считал тактические вопросы второстепенными по отношению к организационным, ставившим под сомнение само существование партии. Возможность сотрудничества с большевиками еще более возросла, когда Ленин в 1909 году очистил свою фракцию от «отзовистов» — группы, которая, по мнению Плеханова, грешила столь же непростительным уклоном влево, как «ликвидаторы» — вправо. Если «ликвидаторы», по-видимому, были готовы перейти к полной легальности, «отзовисты», фактически, отвергали все формы легальной деятельности как оппортунистические и требовали их полного прекращения. Плеханов участвовал в ряде большевистских изданий, но это сотрудничество оказалось недолговечным. Его полемические выступления против «ликвидаторов», возможно, и были на руку большевикам, но он не выражал никакого желания принять тактическую линию Ленина, а большевиков раздражало то, что столь видная фигура использует их издания в качестве средства для критики предлагавшейся ими тактики. Кроме того, Плеханов не переставал бороться за воссоединение партии, в которую, в этом случае, могли войти элементы, абсолютно, по мнению Ленина, недопустимые.

Итак, в целом, в те годы Плеханов, как политический деятель, был одинок. Он не мог принять ни взглядов меньшевиков по организационным вопросам, ни тактики большевиков и стоял за надфракционную середину, объясняя такое положение следующим: «Мои тактические взгляды вполне сложились в то время, когда большевиков и меньшевиков еще не было на свете, т. е. в период возникновения группы „Освобождение Труда“. С тех пор в них не происходило никаких существенных изменений. Если я иногда поддерживал большевиков, а иногда, наоборот, меньшевиков, то это происходило по той весьма простой причине, что иногда те, а иногда другие были более правы С МОЕЙ

ТОЧКИ ЗРЕНИЯ»<sup>4</sup>. Поистине, от его позиции отошли и большевики, и меньшевики. Ленин порвал с плехановской схемой двухступенчатой революции. Что касается меньшевистского большинства, то, хотя Плеханов считал, что его разногласия с ними носили лишь организационный характер, в такой позиции он ясно видел признаки надвигающегося ревизионизма. Меньшевики утверждали, что сохраняют верность его первой революционной программе, но их фактическая тактика (попытка приспособиться к российской действительности, сложившейся в 1905—1906 годах), на его взгляд, плохо с ней сочеталась. И большевики, и меньшевики по-своему стремились соответствовать времени, а Плеханов упрямо держался за свои старые идеи и бичевал всякого, кто отклонился от них, словно желая сказать: «Le marxisme, c'est moi» [марксизм — это я — фр.]<sup>5</sup>. Его неопределенность была, по существу, отражением положения, в котором оказался ортодоксальный марксизм в начале двадцатого века: заняв место между ревизионизмом и большевизмом, он потерял под собой почву.

За исключением маленькой группы «межрайонцев», российские социал-демократы отвергли неоднократные предложения Плеханова о воссоединении на его условиях<sup>6</sup>. В 1912 году раскол РСДРП наконец принял и организационные формы. С тех пор за расположение пролетариата боролись две разных организации, каждая из которых считала себя законной партией. Но, несмотря на это, еще два года спустя Плеханов по-прежнему требовал объединения партии. В основном по его настоянию Международное Социалистическое Бюро согласилось провести переговоры о прекращении раскола в рядах российских социал-демократов, которые, однако, успеха не имели. Накануне разразившейся в 1914 году катастрофы Плеханов с небольшой группой верных сторонников начал издавать еще одну газету — отчаянный голос надежды. Ее девиз выражался одним словом: «Единство».

## ФИЛОСОФИЯ

Вероятно, никто из последователей Маркса и Энгельса не относился так серьезно к философии, как Плеханов. Каутский способен был признать возможность примирения неокантинианства с марксизмом<sup>7</sup>. Ленин мог терпеть «богостроительство» Богданова, считая такие во-

<sup>4</sup> В качестве единственного условия сближения обеих фракций Плеханов предлагал неуклонительное сближение устава РСДРП. — Прим. ред.

просы «не имеющими никакого отношения к социальной революции»<sup>7</sup>. Но, согласно плехановскому образу мыслей, такая беззаботность показывала недостаточное понимание марксизма. Он писал: «Таким образом, марксизм представляет собою цельное и стройное материалистическое мировоззрение, и кто упускает из виду эту цельность его... тот рискует очень плохо понять даже и те отдельные стороны этого учения, которые почему-либо привлекают к себе его внимание... ЦЕЛЬНОЕ мироизречение тем и отличается от ЭКЛЕКТИЧЕСКОГО, что решительно КАЖДАЯ из его сторон самым тесным образом связана со всеми ОСТАЛЬНЫМИ, и что, поэтому, нельзя безнаказанно удалить из него одну из них и заменить ее совокупностью взглядов, произвольно вырванных из ДРУГОГО мироизречения»<sup>8</sup>. Поэтому нельзя упускать из виду ни один аспект марксизма и, в особенности, его философскую основу — ибо Плеханов считал философию «НАУКОЙ НАУК»<sup>9</sup>. Это не просто академическая дисциплина, но предмет, который специалисты должны внимательно изучать, если хотят приобрести прочную основу для своих социально-политических взглядов. Он опасался, что если они этого не сделают, в движение могут проникнуть идеи, опасные для его целостности и успеха. Только постоянная бдительность и воинственная защита материализма спасут его от гибели.

Плеханов действительно защищал его, но его философские труды проникнуты некоторой двойственностью. Его полемические выступления против народников, неокантинцев, Богданова — всех, кто осмеливался противоречить марксистскому материализму или предлагал ему альтернативы, — имеют какой-то квазирелигиозный оттенок. В отношении этих критиков Плеханов следовал примеру Св. Бернара, с которым однажды сравнил себя: «Святой Бернар говорил когда-то: „У меня есть Евангелие, и если бы ангел спустился с неба и стал противоречить ему, — анафема самому ангелу!“»<sup>10</sup>. Однако Плеханов не ограничил защиту диалектического материализма одним лишь осуждением его критиков. Полемические статьи, в которых он излагает различные аспекты и возможности применения марксистского мето-

<sup>7</sup> При всей преданности Плеханова научному идеалу, как пишет R. N. Carew-Hunt, Плеханов, очевидно, первым использовал выражение «диалектический материализм» (Carew-Hunt R. N. Marxism Past and Present. New York, 1955, P. 5). По-видимому, русской марксист впервые использовал этот термин в 1891 году, в статье о Гегеле (Плеханов Г. В. Соч. Т. 7. С. 52).

да, проникнуты духом скорее научным, чем религиозным". При той преданности Плеханова научному идеалу, он просто не мог прибегать в своих работах к сознательным искажениям, как это позднее делали многие авторы-«марксисты». Интуиция и живое воображение давали ему возможность применять этот метод, и часто с поразительными результатами, при том, что Плеханов признавал его несовершенство. Без сомнения, оно частично связано с его свободной интерпретацией данного метода как средства исследования. Он указывал, что "...хотя у Маркса всякое общественное движение объясняется экономическим развитием общества, но оно очень часто объясняется им лишь В ПОСЛЕДНЕМ СЧЕТЕ, т. е. предполагает промежуточное действие целого ряда разных других „факторов"»<sup>11</sup>. Такой подход сравнительно мало связывал исследователя, открывая широкие возможности для изучения и толкования. Возможно, эта особенность объясняет, как, при всей своей преданности, Плеханов мог оставаться «внутренне свободным»<sup>12</sup>. Иногда исследования приводили его к заключениям, несколько отличающимся от положений марксизма<sup>13</sup>, и в ряде случаев он, не колеблясь, указывал на это противоречие.

В конечном счете, Плеханов желал, чтобы марксизм оценивали по изречению: «На свои глаза свидетеля не надо». На марксистскую науку он возложил задачу доказать, что это блюдо не имело равных. Но, предупреждал он, задачу невозможно решить путем бесконечных повторений общих принципов, таких как «анатомия общества коренится в его экономике». Напротив: «...надо уметь делать научное употребление из научных идей, надо отдавать себе отчет во всех жизненных функциях организма, знатомическое строение которого определяется экономикой: надо понимать, как он движется, как питается, как возникающие в нем БЛАГОДАРЯ ЕГО АНАТОМИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЕ ОЩУЩЕНИЯ И ПОНЯТИЯ становятся тем, чем они являются; как изменяются они вместе с наступившими изменениями в его структуре и т. д.»<sup>14</sup>. Одним словом, «...он должен уметь дать материалистичес-

<sup>11</sup> Это особенно относится к таким его работам, как «Очерки по истории материализма», «К вопросу о роли личности в истории» и «Основные вопросы марксизма».

<sup>12</sup> Критический анализ работы «К вопросу о роли личности в истории» см.: Hook S. The Hero in History. Boston, 1955. P. 82—101. Хук отдает должное «самостоятельности мышления» Плеханова и «отрадному стремлению опираться на факты». Но затем критикует за то, что Плеханов объявляет доказанным то, что, на самом деле, опровергается приводимыми им же фактами.

кое объяснение всем сторонам человеческой жизни»<sup>14</sup>. Никто не мог сравниться с Плехановым в тщательности при выполнении этой задачи; он вторгался в такие различные области, как история и эстетика, антропология и литература, эпистемология и искусство.

Он понимал, что работа только начинается, и полагал, что она будет продвигаться быстро, ибо ученые явно марксистского направления были не одноки. По его мнению, самые разные исследования ряда ученых, независимо от их личного отношения к материалистической философии, приводят массу доказательств, подтверждающих ее основные положения. Плеханов необыкновенно много читал; круг его чтения был необычайно широк. При изложении своих взглядов он стремился использовать труды многих выдающихся ученых, о чем свидетельствуют такие увлекательные работы, как «Письма без адреса» и «Основные вопросы марксизма». Среди источников, в которых он находил фактический материал, можно указать труды по эволюции органического мира земли Ч. Дарвина, Э. Геккеля, Т. Гексли, Н. Фриза, антропологические исследования Э. Б. Тэйлора, Ф. Ратцеля и Д. Фрэйзера, а также труды Фореля по психологии<sup>15</sup>.

Кроме подобных работ—«доказательств», написанных как марксистами, так и учеными, не разделявшими марксистских убеждений, Плеханов придавал большое значение изучению истории философии, и именно в этой области написана большая часть его собственных философских произведений. Он начал цикл таких работ в 1891 году статьей, посвященной шестидесятой годовщине со дня смерти Гегеля<sup>16</sup>. Получившая высокую оценку Энгельса и Каутского, она содержит в зародыше все его последующие обстоятельные исследования по истории философии. Гегель занимал видное место в пантеоне Плеханова, и у него Плеханов заимствовал метод и логику исследования, в том числе спо-

<sup>14</sup> Все эти работы, как и множество других, используются Плехановым в качестве подтверждения положения марксистской теории в его работе «Основные вопросы марксизма» (Плеханов Г. В. Соч. Т. 18; Его же. Избр. филос. произведения. Т. 3. С. 124—196). Современный антрополог Morris Opler обратил внимание на удивительную полноту знания Плехановым трудов по антропологии того времени (см. ст. M. Opler в журн. «American Anthropologist». Т. LXIV. (1962). P. 533).

<sup>15</sup> Плеханов Г. В. Соч. Т. 7. С. 29—55. Мое краткое изложение философских взглядов Плеханова, или, скорее, некоторых их аспектов, основано на его философских трудах в целом, а не только на тех, которые были написаны в период 1907—1914 годов. Это относится и к тем разделам данной главы, где речь идет о взглядах Плеханова на литературу и историю.

соб изучения истории самой философии. Отдельные философские направления следует рассматривать не как случайные заблуждения, а как естественный продукт своего времени. Бороться с философскими системами предшественников бессмысленно, ибо каждого из них нужно воспринимать как отдельный этап в развитии единой философии". «Каждая в данное время „превзойденная“ философия была ИСТИННОЙ ДЛЯ СВОЕГО ВРЕМЕНИ», и «...последняя по времени философия есть результат всех предшествовавших философий и должна поэтому содержать в себе принципы всех их...»<sup>15</sup>. Рассматривая историю философии с такой позиции, Плеханов видел в диалектическом материализме кульминацию всей предшествующей философской мысли; это — «САМОЕ РАЗВИТОЕ, БОГАТОЕ и КОНКРЕТНОЕ»<sup>16</sup>.

Обобщенное доказательство этого положения содержится в его известной книге «К вопросу о развитии монистического взгляда на историю», в которой Гегель выступает в качестве связующего звена между мыслителями-материалистами восемнадцатого века и «современным материализмом». О материалистах XVIII века Плеханов уже писал в самом оригинальном своем научном труде «Очерки по истории материализма»\*. Там его внимание было обращено прежде всего на Гольбаха и Гельвеция, которых он выбрал как ведущих мыслителей своего времени. По его мнению, они заслуживали этого, во-первых, потому что их взгляды соответствовали самой передовой научной мысли того времени, а во-вторых, потому что в политике занимали левые позиции. Однако, хотя Плеханов ценил в них защитников философского материализма, он усматривал в их мировоззрении и ряд серьезных недостатков, которые лишали этих ученых способности давать ответы на основные исторические вопросы и верно отражать социальную действительность.

Являясь сенсуалистами, они считали человека продуктом природной и социальной среды. Но, пытаясь объяснить развитие общественных институтов, как представители эпохи Просвещения в целом, эн-

\* Однако на практике Плеханов следовал этому положению в отношении тех, чьи взгляды каким-то образом приближались к диалектико-материалистическому уровню познания. Он писал одному из друзей: «А что Канта обижать необходимо, это я всегда думал и теперь не перестал думать. Вредный старик!» (Литературное наследие Г. В. Плеханова. Сб. 1. С. 354).

\*\* Эта работа была опубликована только в 1896 году, но Плеханов закончил ее до выхода книги «К вопросу о развитии монистического взгляда на историю».

энциклопедисты определяли мнение как причинный фактор<sup>17</sup>. Кроме внешнего противоречия (среда определяет человека, человек определяет среду), эти два положения включали материалистическое понимание человека и идеалистическую формулу истории. Однако мыслители XVIII века объясняли историю человечества особенностями природы человека; но это лишь создавало дополнительные трудности. Как может человеческая природа, понимаемая как постоянная, объяснить нечто, характеризующееся изменениями?<sup>18</sup> Плеханов считал позицию материалистов XVIII века неверной в основе, поскольку она была метафизической в гегелевском смысле. Она никак не могла служить удовлетворительным орудием анализа, ибо в ней отсутствовало понятие развития, а история рассматривалась в качестве результата беспорядочной игры случая<sup>19</sup>. Она была в высшей степени абстрактна и почти не использовала собственные принципы для освещения всего богатства реальной жизни. Метафизическая философия рассматривала явления как дискретные, не связанные между собой, разорванные, отделенные друг от друга непреодолимой пропастью. Соответственно, такие люди, как Гольбах и Гельвеций, были неспособны дать верное представление о развитии общественных институтов и общественной жизни, и их взаимосвязя.

В плехановском понимании истории философии только Гегель сумел преодолеть недостатки своих предшественников. Гегель не довольствовался разрешением явных противоречий посредством скромных ссылок на взаимодействие, ничего не объясняющих. Он попытался найти источники взаимодействующих элементов (общественных институтов и идей) в чем-то более фундаментальном<sup>20</sup>. Он решительно отверг дуализм и эклектизм предшествующей и современной ему философии со всеми ее противоречиями и несоответствиями. Провозгласив Абсолют или последовательное воплощение Разума демиургом исторического процесса, он открыто занял позицию на почве монизма. Но, по оценке Плеханова, этим прорывом к «последовательности» отнюдь не исчерпываются заслуги Гегеля. В отличие от своих предшественников, Гегель признавал взаимосвязанность всех разнообразных проявлений общественной жизни в каждой данной эпохе. И в своем требовании эмпирического изучения истории он выразил соб-

\* Для них характерной была вера в то, что «мудрец на троне», своевременноеявление которого всецело зависит от воли случая, способен избавить общество от пороков (Плеханов Г. В. Соч. Т. 8, С. 63; Его же. ИФП. Т. 2. С. 68).

ственное неприятие тех стерильных формул, которые не могут объяснить ни одной тайны прошлого человечества.

В общем, Гегель свергнул с престола метафизическое мышление и заменил его диалектикой — методом изучения явлений не только в их взаимосвязи, но и в развитии. В применении к обществу этот метод, по мнению Плеханова, «произвел целую революцию». Благодаря ему появилось оптимистическое по своей сути понимание «истории человечества, как ЗАКОНОМЕРНОГО ПРОЦЕССА»<sup>20</sup>. Значит, люди могут открыть эти законы и проникнуть в самую суть того, что казалось всего лишь беспорядочной игрой случая. Более того, они могут даже предсказывать будущее. «Откровение» Гегеля открыло грандиозную перспективу для человека вырваться из пут слепой необходимости и войти в царство разума и свободы.

Плеханов рассматривал саму историю философии как некий диалектический процесс, соответствующий эволюции общества. Как Гольбах и Гельвеций когда-то были в авангарде философской мысли, так позже эту позицию занял Гегель, отбросив их «ошибки», выйдя с помощью своей диалектической и монистической философии за пределы предшествующих философских систем на более высокий уровень. Система взглядов Гегеля представляла огромный прогресс в философской мысли, но и она не была свободна от недостатков. Гегель достоин вечной славы за то, что первым поставил вопрос о существовании законов истории, но идеалистический подход подвел его, когда он пошелся их открыть. Потребовалось повторное привлечение материализма, уже в современной форме, чтобы правильно соотнести формы бытия и мышления, что, по мнению марксистов, Гегель понимал в «перевернутом виде». Младогегельянец Фейербах, отвергнув идею тождества бытия и мышления, обновил материализм, и тот смог занять свое законное место\*, а Марксу и Энгельсу принадлежит успех синтеза материалистической философии Фейербаха и диалектического метода Гегеля.

\* Плеханов считал, что современный материализм очень близок к взглядам Спинозы, и соглашался с Фейербахом относительно несущественности их теологического компонента. «...на точку зрения этого спинозизма, освобожденного Фейербахом от его теологической привески, перешли Маркс и Энгельс, когда разорвали с идеализмом... СПИНОЗИЗМ МАРКСА—ЭНГЕЛЬСА И БЫЛ НОВЕЙШИМ МАТЕРИАЛИЗМОМ» (Плеханов Г. В. Соч. Т. 18. С. 189; Его же. ИФП. Т. 3. С. 135).

Маркс и Энгельс «правильно» провозгласили примат материального фактора, господствующего способа производства, как детерминанта характера общества. Разнообразные духовные явления, включая идеи, возникающие в данную эпоху, составляют надстройку над социально-экономическим базисом. Поставив Гегеля «с головы на ноги», Маркс и Энгельс также устранили противоречия материалистов XVIII века. Они «показали», что как социальная среда, так и идеи человека имеют более глубокое происхождение и коренятся в системе производства общества. Что касается человеческой природы, ее нельзя воспринимать как нечто неизменное. «ВОЗДЕЙСТВУЯ ПОСРЕДСТВОМ СВОЕГО ТРУДА НА ПРИРОДУ ВНЕ ЕГО, ЧЕЛОВЕК [бессознательно — С. Б.] ПРОИЗВОДИТ ИЗМЕНЕНИЯ В СВОЕЙ СОБСТВЕННОЙ ПРИРОДЕ»<sup>21</sup>. Как и Гегель, создатели диалектического материализма нашли движущую силу исторического развития вне человека. Но импульс историческому развитию в их системе дает не Разум или Абсолют, а изменения в способе производства.

Кроме истории философии Плеханов несомненно глубоко интересовался философией истории. Он представлял себе исторический процесс как движение, подчиняющееся закону и независимое от человеческой воли. Однако он отвергал вывод о том, что мнения и действия человека не оказывают воздействия на этот процесс: истории без людей быть не может. Если действия человека вступают в противоречие с ходом исторического развития, он оказывается в нелепом положении Дон Кихота<sup>22</sup>. Но осуществление исторического процесса, с точки зрения Плеханова, предполагает некие определенные виды человеческих действий. Если процесс действительно считать объективным и подчиняющимся закону, то можно было бы предположить, что эти человеческие действия будут совершаться автоматически. Плеханов представлял этот вопрос именно так, во всяком случае, в своих общих теоретических рассуждениях; однако в отношении самого вопроса о развитии пролетарского сознания он немало колебался в течение своей марксистской карьеры. Чтобы сохранять верность своему излюбленному постулату «бытие определяет сознание», он вынужден был доказывать, что рост пролетарского самосознания зависит от развития капитализма. Но лишь однажды, в пылу полемики, он упомянул о том, что можно обойтись без деятельности социалистической интеллигенции. Во всех остальных случаях он считал эту деятельность существенно необходимой. При том, что данное положение невозможно

примирить с его пониманием основного принципа марксистского материализма, Плеханову все же удалось замкнуть круг исторической неизбежности определением действий социалистической интеллигентии как законосообразных: «Если я стремлюсь принять участие в таком движении, торжество которого кажется мне исторически необходимым, то это значит только то, что я и на свою собственную деятельность смотрю как на необходимое звено в цепи тех условий, совокупность которых необходимо обеспечит торжество дорогое для меня движения»<sup>23</sup>.

Из этого можно было бы заключить, что Плеханов считал всякое человеческое поведение детерминированным, и его взгляды, таким образом, представляют собой замкнутую систему. Однако их дальнейшее рассмотрение выявляет ряд фундаментальных противоречий. В цитированном выше отрывке Плеханов определяет свою собственную деятельность как необходимое звено в цепи условий и косвенно признает, что участвует в движении потому, что испытывает к этому склонность. Такая формулировка является допущением, что он и многие другие могут уклониться от такого участия и, таким образом, помешать победе движения. Другими словами, подразумевается, что дверь для воздействия свободной воли на ход истории открыта. Если этот пример покажется несколько натянутым, то можно указать также и на то, что Плеханов особое значение в историческом процессе отводил страсти. Он писал: «Ни один великий шаг в истории никогда не совершался без помощи страсти, которая, удесятеряя моральные силы и тренируя умственные способности исторических действующих лиц, сама составляет великую движущую силу»<sup>23</sup>.

Если бы понадобилось привести это высказывание в соответствие с исторической схемой Плеханова, он, безусловно, объяснил бы и страсть как чувство, предопределенное объективными условиями. И все же, быть может, не вполне осознанно, его политическое поведение предполагало существование некой сферы истинной свободы. Например, в письме к Аксельроду в период полемики с ревизионистами он

<sup>23</sup> Плеханов Г. В. Соч. Т. 18. С. 245. Непосредственно после этого высказывания Плеханов указывает на сходное положение американского протестантизма, который не видит противоречия между верой в детерминизм и необходимости быть «человеком действия». Та же параллель проводится в интересной статье: Daniels R. V. Fate and Will in the Marxian Philosophy of History // Journal of the History of Ideas, Vol. XXI (1960).

признавал, что Бернштейн отчасти прав, но осуждал его за использование приводимых им данных в ущерб революционному социализму. Вряд ли имело бы смысл осуждать Бернштейна, если не считать, что он мог вести себя иначе. Плеханов считал долгом лидера-социалиста бороться против всяческих теорий, стоявших на пути к достижению конечной цели. Но Бернштейн, тоже один из руководителей социалистического движения, счел нужным поступить иначе. Примечательно, что Плеханов в своих обличениях приберегал эпитет «бесстрастный» для тех, кого более всего презирал, в том числе для Бернштейна<sup>24</sup>. Его яростная атака на Бернштейна была, безусловно, признаком опасения, что ревизионистское мышление уведет исторический процесс на не-предвиденные и нежелательные пути. Оно может помешать достижению такого уровня *élan* [здесь: развитие — фр.] пролетариата, который обеспечит проведение социалистической революции. Ревизионизм грозил лишить социалистов веры в конечную победу, которая сама по себе представляла основной источник их силы. Вряд ли Плеханов стал бы так волноваться из-за Бернштейна, если бы верил, как сам он уверял, что необходимая для реализации его исторической схемы страсть возникает автоматически.

Его неспособность успешно решить проблему свободной воли и необходимости отразилась в его взглядах на проблему эволюции и революции, связанных с нею. Как многие мыслители девятнадцатого века, Плеханов считал идею эволюции одним из основных принципов социального анализа. Но он не был согласен с теми, кто возводил эту идею в высший принцип. Отвергая вывод о том, что «история не делает скачков»<sup>25</sup>, он настаивал на органической связи между эволюцией и революцией. Ведь в истории, замечал он, было довольно много революций. И все они происходили не вопреки эволюции, а потому что эволюция расчистила для них путь. Плеханов пишет: «Ни один скачок не может иметь места без достаточной причины, которая заключается в предыдущем ходе общественного развития. Но так как это развитие никогда не останавливается в прогрессирующих обществах, то можно сказать, что история постоянно занимается подготовкой скачков и переворотов. Она прилежно и неуклонно делает это дело..., но резуль-

<sup>24</sup> Например, в 1898 году он написал Аксельроду: «Я... за то любил... Гегеля... что он... был полон теоретической страсти. У Бернштейна этой страсти нет, а есть масса самодовольной пошлости» (Переписка Г. В. Плеханова и П. Б. Аксельрова. Т. 1. С. 201).

таты ее работы (скачки и политические катастрофы) неотвратимы и неизбежны»<sup>25</sup>.

Необходимо признать, что эволюция может и нередко действительно готовит путь к революции. Там, где господствующие силы отказываются уступить другим элементам, поднявшимся в ходе социальной эволюции, новые группы иногда вступают в борьбу, которая завершается успехом революции. Но только что процитированный отрывок грешит непростительным нарушением логики. Свершившиеся революции несомненно были подготовлены предшествующим ходом эволюции, однако это вовсе не означает, что эволюция неизбежно влечет к революции. Качество социальной эволюции может различаться в зависимости от настроения людей. В девятнадцатом веке некоторые правящие группы сочли более разумным провести общественную реформу, чем стоять насмерть за свои привилегии. Гибкость их поведения воспрепятствовала развитию в пролетариате революционной страсти, или, во всяком случае, способствовала ее скорому угасанию. Действия сознательно, осуществляя свою свободную волю, некоторые личности изменяли ход исторического процесса, в марксистском понимании. Диалектика постоянного обострения противоречий, неизбежно ведущего к разрушительному перевороту, просто не действовала в Англии и некоторых других странах. Действия Плеханова в отношении сторонников ревизионизма являются нам человека, который силой своей страсти отчаянно пытается возместить нежелание исторического процесса двигаться по тому пути, который он считает объективным и не зависящим от человеческой воли. Философские предпосылки не позволили Плеханову понять значение и притягательность ревизионизма для рабочих таких стран, как Англия и Германия.

Недостатки плехановской философской системы становятся очевидными при оценке деятельности большевиков. Здесь намеренные действия людей также помешали материализации «объективного» исторического процесса. В России, где правящие классы были поистине неспособны к изменениям, социальная эволюция, по всей видимости, подготовила путь к революции. Плехановская ненависть к общественно-политическому строю в России вселила в нем страстное желание свергнуть его. Он обратился к нарождающемуся пролетариату как к единственной силе, способной выполнить эту задачу. Его собственную революционную страсть обычно сдерживало преклонение перед «законами истории», твердое убеждение, что они не могут безнаказанно

нарушаться. В Ленине революционная страсть была столь сильной, что перед ней должны были отступить все и вся. Он готов был разжигать или использовать уже пробужденные страсти народа — крестьянства и пролетариата в одинаковой мере, — пока не будут сметены государство, аристократия и буржуазия, что позволит сразу перескочить через целый исторический этап. Воспевая страсть как фактор истории, Плеханов не учитывал силу эмоциональных всплесков такого порядка. И в 1905 году, и в 1917 он оказывался в неловком положении, пытаясь остыть страсти «незаконные», угрожающие нарушить «неизбежный» ход «объективного» исторического процесса. Как и в случае с понятиями «свободы» и «необходимости», Плеханову не удалось представить в единой схеме процессы эволюции и революцию в обществе, точнее, свою ортодоксальную марксистскую теорию, упорно отвергаемую реальным ходом исторического развития. В определенный момент в Западной Европе это равновесие было нарушено, но возобладали эволюционные тенденции, в России — революционные; революция не смогла реализоваться в первом случае, а эволюция была в корне пресечена — во втором.

Очевидно, диалектический материализм, как и предшествующие философские направления, не был лишен недостатков и противоречий. Марксистский метод, каким бы могучим средством познания он ни был, даже в руках такого талантливого практика, как Плеханов, явился далеко не последним словом в общественных науках.

## ИСТОРИЯ

Сильное увлечение Плеханова историей, проявившееся еще в начале его жизненного пути, с возрастом стало еще заметнее. Солидная часть его трудов носит исторический характер, независимо от того, идет ли речь об эволюции философской мысли, западной или российской историографии (Ф. Гизо, О. Тьерри, М. П. Погодин и другие), или о таких представителях российской интеллигенции, как П. Я. Чаадаев, В. Г. Белинский, А. И. Герцен и Н. Г. Чернышевский (о нем Плеханов написал целую книгу). В 1909 году Плеханов начал работу над книгой «История русской общественной мысли», которая должна была стать крупным историческим трудом. Первоначальный договор с издательством «Мир» предусматривал исследование (явно в одном томе), становление общественной мысли от возникновения русского государства до революции 1905 года. Однако по мере того как Плеханов созда-

вал свою работу, ширился и изменялся план будущего труда, и в 1917 году издатели объявили, что законченная работа будет состоять как минимум из семи томов<sup>26</sup>. Но в следующем году Плеханов умер, успев закончить лишь первые три тома. Глава о Радищеве, которая должна была закончить анализ развития русской мысли восемнадцатого века, осталась незавершенной.

В первых строках Предисловия Плеханов изложил принципы построения своей работы: «В предлагаемом исследовании, посвященном истории русской общественной МЫСЛИ, я исходил из того основного положения исторического материализма, что не сознание определяет бытие, а бытие сознание. Поэтому, я прежде всего обратился к обзору объективных условий места и времени, определявших собою ход развития русской общественной ЖИЗНИ... Условиями места я называю ГЕОГРАФИЧЕСКУЮ, а условиями времени — ИСТОРИЧЕСКУЮ обстановку названного процесса»<sup>27</sup>. Далее он объяснял свой метод более подробно, утверждая, что задача исследователя общественной мысли никаким образом не ограничивается описанием идей и идеалов отдельных ее представителей. Его более существенная обязанность состоит в том, чтобы найти «социологический эквивалент» различных взглядов, «ОТКУДА ОНИ ВЗЯЛИСЬ, ПОЧЕМУ ВОЗНИКЛИ ОНИ НА ДАННОЙ СТУПЕНИ ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ»<sup>28</sup>. То, что Плеханов прямо формулирует свои установки, достойно восхищения. Однако навязчивая и дидактическая манера многократно повторять это на протяжении всей работы — отталкивающая черта, при всем множестве ее достоинств.

В обширном, более ста двадцатистраничном Введении, возможно, самой увлекательной части работы, Плеханов представляет критический анализ работ ряда ведущих русских историков. Как и в трудах по истории философии, он анализирует произведения своих предшественников с позиций исторического материализма, с тем чтобы отдельить правильное понимание от ошибочного. Первые затем могли быть использованы в изложении новом, «истинном» и последовательном, поскольку, от начала и до конца, оно давалось с точки зрения марксистской исторической науки. То, что он действовал таким образом, не удивительно. Но результаты примечательны в нескольких отношениях. Многие ключевые идеи его интерпретации российской истории взяты почти буквально из работ «буржуазных» ученых. Четко просматриваются в плехановской истории идеи С. М. Соловьева о ко-

лонизации, В. О. Ключевского — о становлении империи, А. Брикнера — о влиянии монголов, Б. Н. Чичерина — о крестьянской общине. С другой стороны, Плеханов не оставляет камня на камне от положения М. Н. Покровского — ученого-марксиста, впоследствии главы советской исторической науки — о «торгово-капиталистическом» характере московского общества.

Конечно, Плеханов также критикует определенные ошибки в исторических взглядах таких историков, как Ключевский или Соловьев. Но по ряду узловых моментов его собственная историческая картина представляет собой именно то, что он критикует у других. Например, по его мнению, Ключевский искал истину, объясняя некоторые различия между историческим развитием Запада и России превалированием «политического „момента“ над экономическим на Западе» и смешанностью этих моментов в российском историческом процессе. «В действительности политический „момент“ никогда и нигде не идет впереди экономического,— возражал Плеханов,— он всегда обусловливается этим последним, что никак не мешает ему, впрочем, оказывать на него ОБРАТНОЕ ВЛИЯНИЕ»<sup>29</sup>. Но, опровергая Покровского, Плеханов неосознанно ставит именно политический «момент» выше экономического. То, что царь в Московской Руси был тесно связан с торговлей, в сущности, был «первым купцом», не доказывает, что Русь тогда была страной торгового капитализма, разъясняет он, совсем напротив. Монополизация торговых привилегий правящей династией была характерна для цивилизаций, в которых торговля была развита сравнительно слабо. В России это было вызвано ростом финансовых потребностей государства, в свою очередь, порожденных военной необходимостью<sup>30</sup>. В плехановском изложении истории, как и у Ключевского, проблема безопасности, таким образом, выступала в качестве определяющей в процессе формирования характера российского государства. Разве такие интерпретации, в сущности, не предполагают фактический приоритет политического «момента» (в данном случае, потребности государства) над экономическим?

Плеханов, вероятно, ответил бы, что никогда не отрицал обратного воздействия элементов надстройки на экономическую жизнь, а также, что, «в конечном счете», именно экономическая отсталость страны вынудила государство уделять столь большое внимание экономической жизни. Но если признается обратное воздействие, то возникает вопрос, как можно знать, что является определяющим «в конечном

счете»? В таком случае, отчего нужно произвольно останавливаться на экономической отсталости России? А что ее вызвало? В другом случае Плеханов сам указывает на постоянные набеги степных кочевников — еще один политический фактор — как на основное препятствие в развитии экономики страны<sup>31</sup>. Более чем вероятно, что Плеханов попытался бы приуменьшить значение этого довода открытием еще одного экономического фактора. Ссылка на обратное воздействие и утверждение об определяющей роли экономического «в конечном счете» равносильны заявлению, что его система анализа истории не допускает и возможности опровержений.

Плеханов был склонен к догматичности и непреклонности, когда речь шла о философских принципах, но в эмпирических исследованиях он неуклонно полагался на факты. Эта отличительная черта придает ценность его работе, хотя результаты не всегда служат веским доказательством значимости используемых принципов. Достойны внимания примеры, свидетельствующие о независимости мышления и отсутствии какого-либо догматизма. Так, при анализе вопроса о происхождении русской крестьянской общины Плеханов как евангельские откровения воспринял высказывания Маркса и Энгельса по этому вопросу, но затем пришел к диаметрально противоположной точке зрения<sup>32</sup>. Первоначально он рассматривал крестьянскующину эпохи Московской Руси и последующего времени в качестве фундамента, на котором развился российский деспотизм; в дальнейшем, под влиянием трудов историков, не являвшихся марксистами, — Б. Н. Чичерина и А. Д. Ефименко — стал считать, что общинное землевладение было наиболее простым способом для русского государства обеспечить свои финансовые нужды.

В другом поразительном случае, Плеханов доказывал, вопреки фактам, верность положения, которое едва ли возможно примирить с марксизмом, во всяком случае, в понимании его современных представителей: «Движение человечества по пути культуры вовсе не есть прямолинейное движение. С переходом на более высокую степень экономического развития данное племя (или государство), разумеется, делает более или менее значительный шаг вперед. Но не во всех отношениях. Известные стороны его быта могут попятиться назад, именно благодаря тому, что оно сделало шаг, — говоря вообще, — прогрессивный»<sup>33</sup>. В качестве примера он указывал, что охотники проявляют гораздо большее мастерство в изобразительном искусстве, чем те, кто

занимается скотоводством или примитивным земледелием. Иальным образом, современная цивилизация более высоко развита в экономическом отношении, чем древняя Греция, однако последняя намного превосходила ее в развитии эстетического чувства".

При всей примечательности этих моментов, наиболее поразительное положение в «Истории русской общественной мысли» — это плехановское определение классовых отношений, данное им во Введение: «Ход развития всякого данного общества, разделенного на классы, определяется ходом развития этих классов и их взаимными отношениями, т. е., во-первых, их ВЗАЙМОЙ борьбой там, где дело касается внутреннего общественного устройства, и, во-вторых, их более или менее дружным СОТРУДНИЧЕСТВОМ там, где заходит речь о защите страны от внешних нападений»<sup>34</sup>. Не-марксисту это высказывание может показаться преувеличением значения классовой борьбы, но для марксиста — это серьезная уступка. В противовес знаменитой первой строке «Коммунистического Манифеста» утверждается, что история состоит не только из классовой борьбы. Помимо того, что было отступлением от основного положения «научного социализма», плехановская формулировка поражает, ибо ничто в его прежних работах не предвещало этого. Несомненно, это противоречит идеям, выраженным в важной статье «Патриотизм и социализм» (1905); и в этой перемене уже частично просматривается его различное отношение к I мировой и русско-японской войнам. Трудно представить, чтобы какое-то событие в его политической жизни после 1905 года могло вызвать столь резкое изменение позиции. Скорее, это стало результатом исторических исследований Плеханова, выявивших значение национального интереса как мощного фактора в международной истории<sup>35</sup>. Этим аспектом нельзя пренебрегать, считал он; однако его не способен хорошо понять тот ученый, который всегда и всюду, в качестве организующего принципа своих исторических трудов, выводит борьбу классов.

Построение основной части плехановского труда также вызывает изумление. При всех возможных допущениях, можно все же было ожидать изложения взаимодействия общественных идей на основе столк-

\* Изложенный здесь Плехановым принцип, тем не менее, не учитывал, что за распространением капиталистического способа производства не следуетineизбежно политическая демократизация общества.

\*\* В основной части своей работы Плеханов приводит этот принцип в качестве доказательства в связи с периодом Смуты (Плеханов Г. В. Соч. Т. 20. С. 251).

новения интересов эксплуатируемых и эксплуататоров. Вместо этого в главах идет речь о «движении общественной мысли под влиянием борьбы между духовной и светской властью», «между боярами и служилым дворянством», «между боярами и церковниками», «между царями и боярами». Более чем сомнительно, что эти вопросы можно подвести под классовую борьбу, в марксистском понимании этих явлений\*. Несомненно, такие общественные столкновения составляют чрезвычайно важные элементы истории, и Плеханов имел все основания, чтобы избрать их для изучения. Однако в таком случае он фактически признавал, что классовая борьба, в общепринятом понимании, далеко не охватывает даже внутреннюю сторону истории народа. Следующие главы его работы посвящены, в основном, темам, традиционным в русской исторической науке: Смуты, раскол церкви и реформы Петра Великого, но излагаются они часто необычно. Есть в плехановской «Истории» и ряд малоинтересных пассажей, но, в целом, она содержит массу поразительных наблюдений, заслуживающих внимания.

В русской историографии плехановская «История русской общественной мысли» представляет собой новую попытку пролить свет на вопрос, над решением которого русские мыслители бились десятилетиями. И все же он, наверное, первым попытался дать более или менее систематический ответ на вопрос: «Принадлежит Россия Западу или Востоку?» Его вывод должен был оказаться сложным, ибо он признавал значительные различия в общественном развитии как в странах Востока, так и в странах Запада. Сложность усугублялась и невольной двойственностью. С одной стороны, Плеханов противопоставлял Запад и Восток как более или менее полярные модели развития; с другой стороны, его стремление подвести все формы исторического развития под общую схему толкало его к устранению данной bipolarности. Взяв историю Запада, в особенности Франции, в качестве исходной модели общественного развития, он доказывал, что процесс развития восточных деспотий хотя и отличается от западноевропейского, но не коренным образом. Например, они также прошли через некое подобие феодальной фазы<sup>35</sup>.

\* Каждый из четырех названных элементов не имеет прямого отношения к средствам производства — критерию, в соответствии с которымдается определение класса в марксизме. Борьбу между ними также нельзя подвести под определение « угнетенные против угнетателей».

Плехановская оценка изменения культурной ситуации в России — основная тема исследования истории России — изложена в интересном отрывке, который следует за сравнением Франции и восточных деспотий: «То же надо сказать, сравнивая историческое развитие Франции с историческим развитием России: о ПОЛНОМ своеобразии русского исторического процесса не может быть и речи, такого своеобразия вообще не знает социология; но не будучи ВПОЛНЕ своеобразным, русский исторический процесс все-таки отличается от французского некоторыми весьма важными чертами. И не только от французского. В нем есть особенности, очень заметно отличающие его от исторического процесса всех стран европейского Запада и напоминающие процесс развития великих восточных деспотий. Притом,— чем весьма значительно осложняется вопрос,— особенности эти сами переживают довольно своеобразный процесс развития. Они то увеличиваются, то уменьшаются, вследствие чего, Россия как бы колеблется между Западом и Востоком. В течение московского периода ее истории они достигают гораздо больших размеров, нежели в течение киевского. А после реформы Петра I они опять уменьшаются — сначала очень медленно, потом все скорее и скорее. Эта новая фаза русского общественного развития, — фаза сперва медленной и поверхностной, а потом все ускоряющейся и углубляющейся европеизации России,— далеко еще не закончена в наши дни»<sup>36</sup>.

Парадоксально, что Плеханов считает фундаментальными те черты России, которые делают ее склонной к Западу; а черты, общие с Востоком, тем самым, отличающие ее от Запада, называет вторичными. Тем не менее, в основном, он связывает развитие России с восточным, а не западным образцом. И за два десятилетия до начала этого крупного исторического труда он уже разрабатывал концепцию России как «Восточной (иногда полуосточной) деспотии». Под этим термином он подразумевал определенный тип государственно-политического устройства, существовавший, насколько ему было известно, только в некоторых великих восточных цивилизациях, таких как Древний Египет, Китай и Индия. И самой его характерной чертой была неограниченная власть государства (главы-деспота и его правящего аппарата) — которое контролировало средства производства и таким образом удерживало все классы населения в состоянии полной зависимости и бессилия. В отличие от всех историков до и после него, Плеханов связывал это развитие не с длительным периодом татарского господ-

ства в России", а с выдвижением Московского княжества. В этот период и после него особый характер российской системы отмечали многочисленные приезжавшие в Россию с Запада. Например, в шестнадцатом веке Герберштейн замечал, что царь «...имеет власть как над светскими, так и над духовными особами, и ...по своему произволу, распоряжается жизнью и имуществом всех»<sup>37</sup>.

Как и Ключевский, Плеханов рассматривал возникновение российского самодержавия (более привычный термин, который однако слишком часто путают с абсолютизмом) как следствие финансовых трудностей. Возышение Москвы и развитие под ее эгидой централизованного государственного аппарата требовало больших расходов. В дополнение к необходимости содержать растущий административный аппарат и поддерживать пышность царского двора, опасность извне требовала содержания крупной военной машины<sup>38</sup>. Поскольку потребности были велики, а наличных ресурсов не хватало, необходимы были драконовские меры, и они проводились без извинений и сожалений. В преимущественно аграрной стране государство присвоило себе право фактически на всю земельную собственность. Крестьянин был лишен сначала права собственности на землю, а затем и на самого себя, то есть, на свою свободу<sup>39</sup>. И знать, как вновь созданная, так и старая боярская аристократия, были превращены в рабов государства. Право на владение землей с людьми, то есть, на обеспечение существования, было поставлено в зависимость от государственной службы<sup>40</sup>.

В этот знакомый образец Плеханов ввел отличительную черту. На протяжении всей книги он подчеркивал отсталость экономики России по сравнению с Западом, в основном объясняя этим различия между ними. Ее спецификой было то, что большую часть своей истории (и в особенности в московский период) российское общество существова-

<sup>37</sup> В лучшем случае, он соглашался призывать косвенное влияние татар (Там же. С. 247—248). Всестороннее исследование восточной деспотии дано в работе: Wittfogel K. A. *Oriental Despotism: A Comparative Study of Total Power*. New Haven, Conn. P. 219—225 и далее. В разделе, посвященном истории России, особо подчеркивается доминирующее влияние монголов.

<sup>38</sup> Плеханов Г. В. Соч. Т. 20. С. 87 и др. Плеханов считал, что и во времена Киевской Руси склонные условия способствовали развитию государства в том же направлении (Там же. С. 57).

<sup>39</sup> Там же. С. 66. Тот же тип подневольного положения, по Плеханову, был навязан и посадским людям (Там же. С. 90).

ло за счет натурального хозяйства<sup>38</sup>. То было сельское хозяйство, в котором на принципах самодостаточности функционировали небольшие крестьянские общины, использовавшие примитивную технику и, как следствие этого, характеризовавшиеся низким уровнем производительности. В конечном счете, возникновение в России государственного устройства по типу восточных деспотий было результатом этого экономического фактора. При всей примитивности крестьянского сельского хозяйства, это была единственная сколько-нибудь значительная производительная деятельность. Построение государства-Левиафана на такой основе можно было осуществить только в том случае, если его основатели сумеют выжать из земледельцев максимальную долю их скучной продукции. Это, в свою очередь, достижимо лишь в условиях, когда государство присвоит себе земельную собственность, а с нею — власть над жизнью и смертью своих подданных.

Другой основной чертой российской деспотии, на которую обратил внимание Плеханов, была ее стабильность. Он имел в виду не только сравнительное отсутствие социального брожения и волнений, но и более общем смысле, крайне медленный, почти неощущимый ход общественного развития. Эти две черты были тесно связаны между собой, и обе имели корни в характере экономической системы. Натуральное хозяйство предполагает традиционную технику производства, бесконечное повторение унаследованных от предшествующих поколений методов, отсутствие какой-либо динамики. Когда движущая сила исторического развития находится в состоянии застоя, общественные отношения и политическая, интеллектуальная и нравственная жизнь народа тоже не меняются. Формы общественной жизни принимают такую неподвижную форму, что живущим в ней представляется немыслимым никакой иной общественно-политический порядок. Вот почему народные восстания в России, в основном, были направлены не против системы как таковой, а против чрезвычайных злоупотреблений, творимых неким «антихристом» или «самозванцем», пробравшимся к трону<sup>39</sup>. Крестьяне продолжали смотреть на «законного» царя как на батюшку-защитника, вопреки всем доказательствам об-

<sup>38</sup> Плеханов воспользовался идеей С. М. Соловьева о значении колонизации как фактора развития российской истории, видоизменил ее и в дальнейшем использовал самостоятельно как положение о колонизации «в условиях натурального хозяйства» (Там же. С. 87). Он утверждал, что в киевский период развития, как и в последующие эпохи, преобладало натуральное хозяйство (Там же. С. 57—62).

ратного. Этот иррационализм был всего лишь одной из граней того животного, нечеловеческого состояния, в котором находились массы при восточной деспотии. Застойное аграрное хозяйство; население, рассеянное по множеству общин, не имевших между собой никакой органической связи; преимущественно крестьянское население, связанное традициями и уноженное интеллектуально и морально условиями своей жизни — такова, по оценке Плеханова, была социально-экономическая база восточной деспотии в ее российском варианте. И пока она существовала, деспотия была в безопасности<sup>40</sup>.

Что касается других элементов российского общества, то все они были подчинены государству. Церковь постепенно теряла свою независимость, как и бояре, дворяне (новая аристократия) и горожане. Более того, каждая из этих групп психологически приспособливалась к системе. Дворяне могли поносить бояр, а бояре — церковников, но все эти три группы психологически смирялись с неограниченной властью правителя. Почти все инакомыслящие из других классов действовали по образцу крестьян. Бояре могли бушевать по поводу необыкновенной жестокости и произвола царя; казаки, обосновавшись на свободных территориях, замахивались на систему, которая угрожала их свободе; дворяне играли в «дворцовые перевороты». Но никто из них не мог заменить данный общественно-политический порядок другим, с иными формами государственного управления<sup>41</sup>. Этую систему, утверждал Плеханов, не следует понимать как творческие воли той или иной личности, хотя он и называл Ивана Грозного автором и основным создателем российской восточной деспотии. Она представляла собой естественное и неизбежное следствие основы экономического состояния<sup>42</sup>.

Плеханов отметил необычную диалектику длительного хода российской истории. В обстановке экономической отсталости России потребность во внешней безопасности привела к созданию государства по типу восточной деспотии. Возникнув, эта система послужила дальнейшим тормозом для экономического развития. Тем временем, страны к Западу от России, благодаря более быстрому развитию экономики, стали сильнее и тем самым составили новую опасность для России<sup>43</sup>. Стимул к ускорению развития российского общества возник не как

<sup>40</sup> Там же. С. 236—237. В восемнадцатом веке дворянам удалось обеспечить себе особое положение. Но, опасаясь боярской олигархии с одной стороны, а крестьянского бунта — с другой, они продолжали поддерживать принцип самодержавия (Там же. Т. 21. С. 85).

внутренняя потребность, а как следствие контактов с более сильными соседями. Хотя бы ради самосохранения, она была вынуждена перенимать у Запада технику и идеи. Эти заимствования, должны укрепить традиционный порядок в России, послужили ему на гибель. Если они придали развитию Запада динамический характер, то в России стали орудием преобразования восточного варварского общества в западное цивилизованное.

Эти исторические преобразования, естественно, связаны с именем Петра Великого. Свое понимание значения деятельности Петра, наряду с собственными взглядами на развитие России от эпохи великого царя до современности, Плеханов выразил следующим образом: «Старая московская Русь отличалась совершенно азиатским характером. И ее социальный быт, и ее администрация, и психология ее обывателей,— все было в ней совершенно чуждо Европе и очень родственно Китаю, Персии, древнему Египту... Петр лишь придал ЕВРОПЕЙСКИЕ КОНЕЧНОСТИ к туловищу, которое все-таки оставалось АЗИАТСКИМ. Однако новые конечности оказали огромное влияние на природу старого туловища. Для поддержания пореформенного порядка нужны были деньги. Петровская реформа дала толчок развитию товарного производства в России. Кроме того, для поддержания пореформенного порядка нужна была хоть какая-нибудь ФАБРИЧНО-ЗАВОДСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. Петр положил у нас начало этой промышленности и тем тоже бросил на русскую почву семена совершенно новых экономических отношений. В течение долгого времени насажденные Петром промышленность вела довольно жалкое существование... Тем не менее, она все-таки совершала свою работу перерождения русского общественного тела, причем си сильно помогали те самые международные отношения, без которых немыслима была бы и деятельность гениального Петра. Успехи русского экономического развития видны из того обстоятельства, что, между тем как петровская реформа требовала УПРОЩЕНИЯ крепостного права, реформы Александра II предполагали его ОТМЕНУ. Начало нового... экономического порядка относится у нас обыкновенно к 19 февраля 1861 года. Мы видим, что оно было положено еще Петром Великим. Но то справедливо, что 19-е февраля дало сильнейший толчок развитию этого порядка... Теперь мы безвозвратно вовлечены в экономическое движение цивилизованного человечества, и никакого утра для старой московской обломовщины не будет»<sup>43</sup>.

Основополагающим этой исторической конструкции стало создание Петром Великим нового уклада, особенно благоприятно развивавшегося при Александре II и достигшего значительных результатов во второй половине девятнадцатого века. Новая экономическая система — это, конечно, капитализм. По мнению Плеханова, Россия успешно перешла от натурального хозяйства Московской Руси к системе с элементами денежной экономики и товарного производства в первые полтора века после эпохи Петра и к торжеству этого типа экономики и этого способа производства над примитивной экономической системой Московской Руси во второй половине девятнадцатого века — первом периоде века капитализма в России<sup>\*</sup>. «Европеизация» российской экономической системы навсегда изменила общественную структуру России, способствуя росту промышленных городов, населенных классами буржуазии и пролетариата. В этих новых силах, аналоги которых на Западе боролись за политическую и гражданскую свободу, Плеханов видел надежду на свержение российской восточной деспотии и «европеизацию» политической жизни.

В сфере идей влияние Запада в России долгое время затрагивало только высшие классы. Еще до эпохи Петра Великого отдельные люди, познакомившиеся с западноевропейской жизнью, чувствовали себя неуютно в родной общественной среде и бежали<sup>\*\*</sup>. То были предшественники интеллигентии девятнадцатого века, чьи ценности сформировались под воздействием интеллектуальной и политической жизни Запада, и что привело их к конфликту с российской действительностью. Однако они не бежали, а пытались перестроить российскую жизнь в направлении, «близком их сердцу».

Одним из крупных косвенных последствий открытия «окна на Запад» было оживление российской общественной мысли. В девятнад-

\* Плеханов считал, что даже те экономические прогрессивные изменения, на которые Россия была вынуждена идти, внедрялись, насколько это было возможно, в рамках восточной деспотии. Петр Великий развивал промышленность без свободного наемного труда, пытаясь приспособить ее функционирование к крепостному праву. Получив, наконец, свободу, крестьяне перестали быть собственностью дворян, но остались «в полной зависимости» от государства (Там же. Т. 20. С. 122, 124—125).

\*\* Там же. С. 268, 278—279. В другом случае Плеханов писал о В. А. Ордын-Нашонине, одном из таких людей, который «...был первой жертвой умственного влияния Запада на Россию» (Там же. Т. 10. С. 146). Другие передовые люди XVIII — начала XIX веков, утверждал Плеханов, чувствовали нечто вроде тошноты по отношению к своему общественному окружению (Там же. С. 147; Т. 21. С. 52—53).

шатом веке, в отличие от прошлых эпох, было достаточно разных моделей, в соответствии с которыми Россия могла строить новую жизнь в стране; но потенциальным архитекторам не хватало общественной поддержки для того «отрицания», которое должно предшествовать строительству\*. В этом была беда интеллигенции: их отвращение к российской действительности равнялось лишь их неспособности ее изменить.

Огромная масса русского народа — крестьяне — долго оставались вне процесса европеизации. Они погрязли в азиатском варварстве и были совершенно равнодушны к идеалам ориентированной на Запад интеллигенции. Культурные связи принесли в Россию передовую общественную и политическую мысль до того, как развились те общественные и политические факторы, что привели к ее возникновению на Западе. Если нужно было «европеизировать варваров»<sup>44</sup>, то это невозможно было сделать по воле интеллигенции. Передовые идеи могли реализоваться только после того, как экономическое развитие изменил сам характер общественной жизни; когда оно породит общественные силы, по своей природе и интересам стремящиеся к воплощению данных идей. В этом, в сущности, состояло историческое значение капитализма в России.

Плеханов, не отрицая стремлений буржуазии обрести свободу, считал пролетариат той европеизировавшейся силой, которая, наконец, воплотит страстное желание интеллигенции покончить с изжившим себя порядком. Но крестьяне даже в начале двадцатого века по-прежнему, в основном, оставались в стороне. Во «Введении», в одном из отступлений, Плеханов вкратце подвел итог последней революции в следующих выражениях: «Взрыв 1905—1906 гг. был следствием европеизации России. А его „неудача“ была причинена тем, что процесс европеизации переработал пока еще далеко не ВСЮ Россию»<sup>45</sup>. Революция, начавшаяся при столь благоприятных обстоятельствах, споткнулась об иррационализм крестьян. Даже в своих крайних насилий-

\* Это основная концепция плехановского понимания одиссеи Белинского; она присутствует и в его анализе судеб Герцена, Чернышевского и других. О них не говорится в самой «Истории». Ссылки на них и их труды можно найти в разных томах собрания сочинений Плеханова. Исторические статьи по общественной мысли России XIX века собраны в двадцать третем томе. Поскольку, вполне вероятно, что эти материалы были бы использованы в последующих главах «Истории», в данном случае мы рассматриваем их как одну из ее возможных частей. Об идеях отрицания см.: Там же. Т. 10. С. 349; Т. 14. С. 286; Т. 23. С. 139—141, 424—425.

ных действиях они демонстрировали психологию порабощенных масс, характерных для стран восточных деспотий, и объективно оставались консерваторами. Крестьяне еще не осознали, какие условия были необходимы для их освобождения, но, что еще хуже, их противники могли использовать такое непонимание для того, чтобы пресечь действия тех, кто это осознал. Это положение ясно показывает, что исторические взгляды Плеханова были созвучны его идеям о проблемах современной ему России.

Кстати, на этом фоне проясняется и позиция Плеханова по аграрному вопросу. В период составления программы партии, а также в 1905—1906 годах, Плеханов неизменно отвергал предложение Ленина о национализации земли уже в ходе первой революции. Тем не менее, и в работе «Социализм и политическая борьба», и во время голода 1892—1893 годов, он выступал за национализацию<sup>46</sup>. За десять лет, в период между голодом и попыткой «Искры» составить партийную программу, вызрела плехановская концепция России как восточной деспотии. В основе деспотии лежала власть государства над земельной собственностью, что ставило все население в зависимость от государства. Даже после отмены крепостного права, считал Плеханов, зависимость крестьян сохранялась, хотя и в несколько смягченном виде. Проникновение капитализма в деревню еще более подточило ее. По его мнению, прогрессивные силы в России должны принять такую аграрную программу, которая раз и навсегда уничтожит экономическую основу деспотии. Окончательное заявление его позиции содержится в статье 1906 года: «Раздел имел бы бесспорно много неудобств с нашей точки зрения. Но сравнительно с национализацией у него было бы то огромное преимущество, что он нанес бы окончательный удар тому нашему старому порядку, при котором и земля, и землевладелец составляли собственность государства и который представляет собой не что иное, как московское издание экономического порядка, лежавшего в основе всех великих восточных деспотий. А национализация земли являлась бы попыткой реставрировать у нас этот порядок, получивший несколько серьезных ударов уже в XVIII веке и довольно сильно расшатанный ходом экономического развития в течение второй половины XIX столетия»<sup>47</sup>.

Иногда кажется, что для написания «Истории» Плеханов произвольно выбирал отдельных мыслителей и отдельные труды как характерные для своего времени и мировоззрения отдельного класса, и что

его трактовка нередко оставляет у читателя чувство некоторого недовольства. Часто идеи некоторых писателей анализируются без должного учета социальной среды, предшествующего развития российской мысли и иностранных влияний, а их трактовка приближается к философской критике<sup>\*</sup>. В работах о ведущих представителях интеллигентии девятнадцатого века Плеханов выдвинул ряд интересных наблюдений. К несчастью, как отмечал критик Р. В. Иванов-Разумник, у него вошло в привычку рассматривать их как «подвид марксизма». По мнению Плеханова, замечал Иванов-Разумник: «Вся трагедия Герцена заключалась... в том, что он не дошел до понимания догматов марксистского вероучения... И что характерно: ведь это не к одному Герцену г. Плеханов применяет свой универсальный диагноз, нет, все ошибки всех мыслителей, публицистов, художников заключаются или в незнании, или непонимании единопасающей марксистской истины»<sup>\*\*</sup>.

При всех недостатках, работа Плеханова представляет собой замечательный синтез российской истории. Он использовал сравнительный метод, который подарил ему много находок, недоступных другим исследователям. Он создал перспективу, четко выявившую особенности исторического развития России. Его указание на сходство России с обществами Востока, несомненно, достаточно убедительно. Оно позволяет понять многое в русской истории, что иначе кажется загадоч-

<sup>\*</sup> В других случаях слишком пространные отступления в смежные области нарушают пропорции и цельность работы. В данном случае, речь идет о его трактовке ренакрецизма в третьем томе «Истории».

<sup>\*\*</sup> Иванов-Разумник Р. В. Литература и общественность: Сб. ст. 2-е изд. Спб., 1911. С. 127—128. Ожесточенная полемика вслыхнула между Плехановым и Р. В. Ивановым-Разумником, тоже написавшим «Историю русской общественной мысли». По мнению Плеханова, работа Иванова-Разумника не представляла ценности, поскольку автор не понял, что общественная мысль в обществе, разделенном на классы, неизбежно отражает точку зрения того или иного класса. Иванов-Разумник, со своей стороны, обвинил Плеханова, заявляя, что он не сумел выполнить самую важную функцию историка общественной мысли, так как историк не может довольствоваться нахождением «социологического эквивалента» для той или иной идеологии; он должен пойти дальше и найти «этический или философский эквивалент» различных социологических явлений. Другими словами, для него этика была независимой сферой, которую ни в коем случае нельзя рассматривать как часть надстройки определенного способа производства. Плехановская точка зрения отражена в статье «Идеология мещанина нашего времени» (Плеханов Г. В. Соч. Т. 14. С. 259—344; Его же. ИФП. Т. 5. С. 528—608).

ным. Не следует также недооценивать вклад Плеханова в современное понимание того, как экономические факторы определяли формирование пути развития цивилизации России. Особенno ценным является доказательство Плехановым того, что социально-психологический тип нации и государственное устройство являются следствием общественно-экономического развития. Эти черты, представленные более рельефно, чем во всех других работах, создают ощущение целостности восприятия российской цивилизации. В достижении этих результатов Плеханов проявил поразительную интуицию, массу блеска и оригинальности. Его «Историю русской общественной мысли» и сегодня можно читать с огромной пользой.

## ИСКУССТВО

Хотя Плеханов широко известен как основоположник русского марксизма, его достижения в области создания марксистской литературной критики оцениваются не столь высоко. Маркс и Энгельс определили отношение искусства ко всему комплексу человеческой жизни лишь в самых общих чертах. Иногда они упоминали мимоходом и о критике<sup>48</sup>. Но до Плеханова никто серьезно не занимался созданием целостной теории искусства и художественной критики с позиций исторического материализма. Плеханов совершил свой первый экскурс в литературную критику в 1888 году, написав работу о Глебе Успенском. Это было началом цикла о «беллетристах-народниках» — группе писателей, выражавших в своих рассказах о народной жизни глубокое сочувствие крестьянам. Относительно этюда об Успенском Аксельрод восторженно воскликнул в беседе с гостем, что это — «...гениальное применение марксистского метода к литературной критике. Ничего подобного у нас не было»<sup>49</sup>. В этой и последующих работах о Каронине (1890) и Наумове (1897) зарождались принципы, которые Плеханов затем синтезировал в четкую теорию.

Его взгляды на природу искусства и обязанности критика частично совпадали с соответствующими взглядами в области философии, политической теории и других областях общественной мысли. В каждом случае наблюдатель имеет перед собой социальное явление — продукт, отражающий стремления и настроения, одним словом, сознание определенного общества или, в классовом обществе, определенного класса. Конечно, сознание определяется бытием, условиями общественной жизни и, в конечном счете, господствующим способом произ-

водства. Соответственно, осуждение историком или критиком искусства того или иного художественного выражения сознания данного общества или класса столь же бессмысленно, сколько борьба против систем своих предшественников для историка философии. Он должен подходить к своему предмету с беспристрастием ученого, и обязанность его состоит не в осуждении или оправдании, а в объяснении<sup>50</sup>. Прежде всего, он должен суметь найти социальные корни данного произведения. Сам Плеханов определил эту задачу следующими словами: «В качестве сторонника материалистического мировоззрения я скажу... чтобы найти то, что может быть названо СОЦИОЛОГИЧЕСКИМ ЭКВИВАЛЕНТОМ ДАННОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯВЛЕНИЯ»<sup>51</sup>.

Этот отрывок приводит на память аналогичное определение задачи историка общественной мысли. Но, кроме того, он напоминает о серьезном различии, которое проводил Плеханов между искусством и разнообразными направлениями общественной мысли. У них разный язык — последние оперируют логическими аргументами («силлогизмами»), а первые — образами. Они происходят из одной среды и представляют собой всего лишь отличные друг от друга формы выражения одной общественной действительности и поэтому допускают взаимный перевод. Однако, по ряду аспектов, Плеханов считал искусство областью более сложной и трудной для понимания, чем общественные дисциплины. В отличие от последних, создание и восприятие искусства характерны для человека как биологического вида. Создание искусства происходит от игрового инстинкта, которым человек наделен наряду с другими, более примитивными животными. Но, кроме того, человек обладает природной способностью испытывать удовольствие от прекрасных объектов. Эти способности, по природе своей пластичные, формировались различной социальной средой и привели к различным результатам. Формы и содержание искусства широко варьировались, так же как и вкус, в зависимости от условий времени и места их возникновения<sup>52</sup>.

<sup>50</sup> Плеханов Г. В. Соч. Т. 23. С. 177. Здесь, конечно, он цитировал знаменитый критический принцип Энгеляса. Это положение легло в основу исторических трудов Плеханова (Там же. Т. 20. С. 5).

<sup>51</sup> Особое развитие эти идеи получили в работе «Письма без адреса» (Там же. Т. 14. С. 5—7 и др. Плеханов Г. В. ИФП. Т. 5. С. 282—392). Попытание Плехановым способности к эстетическому наслаждению как более или менее автономной привело его к принятию эстетической возврата Канта (Плеханов Г. В. Соч. Т. 14. С. 118—119).

Сложность нахождения социологического эквивалента различных форм искусства была не меньшей. В отношении первобытного искусства проблема была сравнительно проста. Антропологи нашли множество примеров из жизни первобытных народов, чьи танцы имитируют движения охотников и работу земледельцев. Точно так же орнаменты и картины изображали зверей, стада и т. п. Это указывает на первичность труда и вторичность игры, а также роль производительной деятельности общества в определении характера его искусства<sup>51</sup>. Плеханов сознавал, что в более прогрессивном обществе проблема бесконечно сложнее. Знание экономической жизни Франции в восемнадцатом веке вряд ли объяснит происхождение менуэт. Этот танец нельзя непосредственно связать с производительной деятельностью общества, потому что он отражает психологию непроизводительного класса. В этом случае Плеханов готов был признать примат психологического фактора над экономическим, но утверждал, что, в конечном счете, решает последний. Появление непроизводительного класса, замечал он, само по себе было результатом экономического развития французского общества<sup>52</sup>. Возможно, аргументация не совсем четкая, но формулировка имеет то преимущество, что не слишком связывает критика. Он получает широкие возможности трактовки отдельных форм искусства, оперируя более ему соответствующими причинно-следственными связями, нежели экономические.

Когда критик находит социологический эквивалент данного произведения искусства, остается вторая, не менее важная, часть задачи. Критик-материалист, как утверждал Плеханов, «не должен „затворять двери перед эстетикой“»; а напротив, обязан «перейти к „оценке эстетических достоинств разбираемого произведения“»<sup>53</sup>. В этом случае он включает в собственный метод все ценное из опыта своих предшественников-«идеалистов», превосходя их в том, что вводит еще одно дополнительное измерение, благодаря которому критика приобретает целостность. Но по каким критериям критик определяет художественную ценность данного произведения? Плеханов осторожно относился к абстрактным, априорным определениям идеала в искусстве. В конце концов, искусство существовало до появления критики. Поэтому критика должна определять не то, чем должно быть искусство, а то,

чем оно является<sup>54</sup>. Надлежащие критерии следует брать не из абстрактных спекуляций, а из исследования искусства.

Его первый принцип вытекает из определения им искусства. Поскольку Плеханов предполагает непосредственное познание истины через образы, произведение может считаться искусством, только если оно действительно передает мысли и чувства таким образом, а не доказывает их посредством силлогизмов. Согласно второму принципу, который также следует из его определения искусства, художественное произведение должно быть правдиво, должно соответствовать действительности. Для Плеханова правдивость необходима, ибо где нет истины, там нет красоты. Красота состоит в истине и простоте. «...Ложная идея не может не вредить художественному произведению», — писал он, — так как она вносит ложь в психологию действующих лиц»<sup>55</sup>. Третий принцип гласит, что идея, воплощенная в произведении искусства, должна быть конкретной, а не абстрактной, и охватывать весь предмет, а не ту или иную его сторону. И наконец, произведение должно обладать единством: единством формы, единством содержания и гармоничным сочетанием формы и содержания<sup>56</sup>. Таким образом, великое произведение искусства правдиво отражает действительность через образы, которые успешно реализуют воплощенную в нем идею. В качестве дополнительных требований, Плеханов добавляет, что ценность произведения также определяется высотой выражаемого им настроения; и только идеи, способствующие укреплению человеческой общности, могут вдохновить художника<sup>57</sup>.

В целом, описанный здесь подход к искусству представлял собой нечто новое, но многими его элементами Плеханов обязан ряду своих выдающихся предшественников. Наиболее значительные из них: Гегель, в эстетике которого «очень много зародышей материалистического взгляда на искусство»; Белинский, которому он обязан своими эстетическими критериями и которого однажды назвал «самой светлой головой между всеми русскими писателями»<sup>58</sup>; и Ипполит Тэн, фран-

<sup>54</sup> Там же. Т. 23. С. 157. Заявив эту позицию, Плеханов, тем не менее, подошел к принятию эстетического кодекса Белинского, к которому, по его утверждению, знаменитый критик прашел отчасти алгоритмично. Возможно, Плеханов не мог не сделать этого, ибо, по замечанию Г. Боумена, «...любая систематическая формулировка того, что есть искусство, дает материалы для систематической формулировки того, чем искусство должно быть» (см.: Bowman H. E. *Vissarion Belinski, 1811—1848: A Study in the Origins of Social Criticism in Russia*. Cambridge, Mass., 1954. P. 3).

цузский историк и критик, чьи труды вызывали его глубокое восхищение. Все они, так или иначе, признавали взаимосвязь искусства и всего комплекса человеческой жизни и мысли. Все они подчеркивали необходимость рассматривать искусство исторически, а Белинский и Тэн приближались к материалистическому его пониманию. Плеханов, безусловно, заимствовал у Тэна идею необходимости научной беспристрастности для критика. В трудах Тэна он также отмечал множество блестящих примеров отражения жизни общества в искусстве, которые, несомненно, подсказали ему формулировку первой задачи критика. Тем не менее, по оценке Плеханова, французскому ученому все же не хватало верной концепции связи искусства и общества. Когда Тэн говорил об окружении как детерминанте формы и содержания искусства, он имел в виду психологическое окружение. Сам Плеханов, как мы уже видели, признавал значение этого фактора. Но Тэн не развил высказанные им идеи, не сумев связать психологию с общественной структурой, а общественную структуру — с ее экономической базой. При всей своей проницательности, Тэн запутался в неразрешимых противоречиях, ибо «...сказал А, оказался не в силах произнести Б...»<sup>58</sup>. По типу литературную критику Плеханова можно определить как синтез критических концепций Белинского и Тэна и социологических идей Маркса.

Несколько примеров для иллюстрации метода Плеханова. В работе о французской драматургии и живописи восемнадцатого века<sup>59</sup> он достаточно хорошо осветил смену школ, связав их с развитием общества в тот период, определив их социологические эквиваленты. Классицизм восторжествовал в литературе и живописи в годы царствования Людовика XIV, и укрепление абсолютной монархии привело к развитию элегантности в придворной жизни. Обретение придворной аристократией особой значимости и уверенности в себе вызвало появление новых канонов вкуса. Они с неодобрением взирали на буффонаду и наивность народного средневекового театра и предпочитали искусство, представлявшее возвышенные персонажи в величественном, благородном стиле. В драме известность приобрел Кориель со своими трагедиями о великих предшественниках древности, служивших назиданием для могущественных людей современности. В живописи арбитром вкуса стал Лебрен, прославлявший величайшего героя своего времени в блестательных изображениях. Король-Солнце, представленный на них, одет в классические костюмы.

Классицизм достиг вершины в развитии в семнадцатом веке и оставался в моде во времена Французской революции. Но,— и это был основной вопрос, на который собирался ответить Плеханов,— как объяснить сохранение консервативного стиля и вкуса в революционной обстановке? Ответ его был и проницательен, и тонок. За годы царствования Людовика XIV классицизм потерял свою жизнеспособность и пришел в упадок, как и прежние правящие силы. Прежняя утонченность сменилась манерностью, преклонение перед воинской доблестью — изнеженностью и чувственностью. Этот переход особенно четко ощущается на примере искусства Лебрена и Буша. Буш, вызывавший не меньше восторгов, чем его предшественник, воспевал женскую красоту, а не мужскую доблесть. И действительно, мужской пол в его живописи, в основном, представлен купидонами. Упадок правивших классов, наиболее заметно проявившийся в сфере политики, вызвал гневное противодействие представителей поднимающейся буржуазии, что нашло отражение и в искусстве, и в произведениях ряда публицистов. Новая школа восставала против «испорченности» и «порочности» благородных бездельников, прославляя моральные добродетели. Такие драматурги, как Нивель де Лашоссе и Бомарше и художники, как Грэз, перенесли внимание с древних времен на современность, из чертогов сильных мира сего — к очагу буржуазной семьи. Буржуй перестал быть посмешищем, как при Мольер, его возвышали в новых жанрах драмы («сентиментальная комедия»), а в живописи изображали достойным уважения и восхищения — трудолюбивым, честным, воплощением семейных добродетелей.

Поскольку новое направление создавало лестный портрет восходящего класса, которому вскоре было суждено прийти к власти, можно было бы ожидать, что оно победит классические формы и вкусы противника. Однако, после нескольких робких попыток, сторонники нравственности на подмостках и полотнах были вытеснены. В эти несколько десятилетий до 1789 года буржуазия всем сердцем восприняла классицизм. Но этот феномен отнюдь не означал примирения с аристократией; напротив, то был переход от просто оппозиционного настроения к революционному. Растущая неудовлетворенность и агрессивность третьего сословия требовала, в качестве модели, не честного буржуа из сентиментальной комедии, такого, каким он был на самом деле, быть может, и достойного всяческого восхищения. Он не мог стать героем потому, что был совершенно оторван от политики.

Кроме того, трудно было представить его совершающим героические поступки. В поисках достойных идеалов те художники, которые сочувствовали готовящемуся восстанию, обратились к древности; но новая школа наполнила классические формы другим содержанием. В возрожденном классицизме основное внимание уделялось республиканским героям, а не царствующим особам — тем, кто любил свободу и готов был на любые жертвы ради блага страны. Таковы были новые образцы для подражания, представленные буржуазии в трагедии Сорена «Спартак» и замечательном портрете Брута работы Давида. Защитники буржуазии избрали классицизм и поставили его на службу своим целям. После революции, коренным образом изменившей общественную ситуацию, классицизм потерял свою привлекательность для победителей, и вскоре его звезда закатилась.

В этой статье Плеханов рассматривал французскую литературу и живопись, главным образом, с точки зрения социологии, но его произведения, в целом, содержат множество образцов критики в области эстетики. Анализ творчества «беллетриста-народника» Н. И. Наумова<sup>60</sup> представляет особый интерес. Во-первых, здесь в центре внимания оказывается взгляд Плеханова на возможность выразить те или иные идеи в литературе и других видах искусства. Конечно, критик-марксист ничего не имел против такой практики; наоборот, работа, лишенная идейного содержания, не может считаться произведением искусства. Тем не менее, выражаемая идея не должна нести на себе «печати пошлости», она должна быть представлена художественными средствами<sup>61</sup>. В целом, Плеханов строго критикует Наумова, и основной его довод состоит в том, что автор жертвует художественной выразительностью ради пропагандистских целей. В этом грехе Плеханов упрекал и множество других авторов, и особенно примечательно то, что его никогда не останавливало отдельное идеологическое содержание произведения. Он мог преизносить романы Толстого и уничтожить такое произведение, как горьковская «Мать», признавая при этом, что первый является представителем интересов дворянства, а второй, якобы, потом революционного пролетариата<sup>\*</sup>.

Плеханов с пониманием относился к задаче Наумова — разоблачить эксплуатацию крестьянства, но критиковал автора за то, что его рабо-

\* Плеханов Г. В. Соч. Т. 24. С. 224; Т. 14. С. 192. Точно так же он считал, что произведением русского поэта Н. А. Некрасова недостает художественной выразительности, восхищалась при этом, как и в студенческие дни, воспетыми в них идеями.

те недоставало реализма. Персонажи Наумова не живые люди, а «антропоморфные абстракции», которых литератор наделяет даром речи. Они представлены читателю не через поведение в конкретных ситуациях, а в диалогах совершенно нереалистических: один персонаж задает другому крайне наивные вопросы так, чтобы этот другой мог пространно изложить свои идеи. Автор описывает невероятную сцену, где кулак откровенно объясняет своей жертве, почему он его эксплуатирует. Вместо того, чтобы вложить в уста своего героя слова, окрашенные иронией, Наумов неоднократно сообщает читателю, что тот говорит «с иронией». Произведения Наумова явно не отвечают плехановскому принципу правдивости. Однако гораздо важнее то, что его творчество в целом не отвечает основным требованиям искусства. Плеханов мог бы сказать и о Наумове то, что позднее писал о романе Горького «Мать»: Горькому необходимо понять, «как мало годится роль проповедника, т. е. человека, говорящего преимущественно ЯЗЫКОМ ЛОГИКИ,— для художника, т. е. для человека, говорящего преимущественно ЯЗЫКОМ ОБРАЗОВ».

Косвенно Плеханов подверг Наумова критике и за нарушение другого важного принципа — единства формы и содержания, по поводу которого не раз высказывался в других произведениях. Вопреки широко распространенному мнению, Плеханов утверждал, что русская литература восемнадцатого века отнюдь не была лишена содержания. Но, как вообще в молодых литературах, мастерство формы отставало от содержания. Например, сатира Кантемира содержит немало идей, но форма их представления делает произведения Кантемира практически неудобочитаемыми для современников<sup>62</sup>. С другой стороны, критик-марксист считает искусство современности «оскудевшим» именно по причине скучности его содержания. Упразднение идей и преувеличение внимание к форме, к «эффектам» — характерная черта искусства, находящегося в состоянии упадка. Эти качества современного искусства — Плеханов также отрицательно оценивал не только кубизм и футуризм, но и импрессионизм — для него были связаны с упадком буржуазии<sup>63</sup>. Уход в «искусство для искусства» выражает склонность класса, который когда-то приветствовал идейность, бежать от неприятной действительности теперь, когда классовая борьба

<sup>62</sup> Там же. Позднее Плеханов более благосклонно оценивал произведения Горького (Там же. Т. 24. С. 257—276).

<sup>63</sup> Кубизм он называл «чушью в кубе» (Там же. Т. 14. С. 171).

грозит уничтожением ему<sup>63</sup>. Что касается импрессионизма, Плеханов признавал, что его представители создали много выдающихся пейзажей, но, добавлял он не совсем уместно, пейзажи — еще не вся живопись. В качестве темы для своей проповеди об импрессионизме Плеханов выбрал заявление одного из его представителей: «Свет есть главное действующее лицо в картине». Художник, так понимающий свое искусство, возражает Плеханов, несомненно стремится к эффектам, к передаче настроения, а не чувств или мыслей. Следовательно, его творчество обязательно будет поверхностным и не сможет проникнуть дальше «коры» явлений и открыть человека с его разнообразными переживаниями<sup>64</sup>. Такова судьба огромного множества художников, ищущих прибежища в модном в конце века культе сверх-субъективизма.

Вероятно, самый целеустремленный экскурс Плеханова в область критики — это его интересная работа об Ибсене<sup>65</sup>. Ни в одном из его критических произведений невозможно найти лучшего примера использования им собственного метода. По оценке Плеханова, норвежский драматург «не имеет себе равных среди современников», и все же есть в его пьесах что-то искусственное, не художественное. Этот недостаток может показаться странным, ибо Ибсен несомненно был человеком творческим и драматургом большого таланта. Плеханов взялся за решение этой загадки, попытавшись раскрыть образы героев пьес в идеи, которые они воплощают, с тем, чтобы затем вскрыть их недостатки. Такие персонажи как Брандт, признает он, говорят о горячей причастности драматурга к «бунту человеческого духа». Однако при ближайшем рассмотрении, цели бунта оказываются столь туманными, что вполне можно говорить о бунте без причины. Безусловно, Ибсен вполне ясно выразил свое презрение к гнетущим, бессмысленным условиям, банальности и оппортунизму, ханжеству и лицемерию. Но, по мнению Плеханова, его положительные цели, сформулированные в таких туманных общих выражениях, как «свобода мысли» и «верность самому себе», почти лишены смысла. Он считает произведения Ибсена недостаточно художественными потому, что идея, которую воплощают столь многие из них, абстрактна, а не конкретна; они превращают нравственный закон в самоцель и не оставляют человеку никаких иных стремлений. Неудовлетворительная концепция целей у Ибсена отразилась в туманных художественных образах.

Во второй части работы Плеханов переходит к определению социальных корней специфического положения Ибсена. Он обратился к среде, в которой вырос Ибсен, и в ней нашел причину писательского бунта. Воспитанный в норвежской провинции, живой и одаренный богатым воображением юноша задыхался среди банальности и скуки филистерского общества, инстинктивно опасавшегося оригинальности. Он возненавидел общество, из которого вышел, но так и не смог от него освободиться. Это и определило характер его бунта. По мнению Плеханова, отличительной социальной характеристикой ибсеновской Норвегии был ее преимущественно мелкобуржуазный характер. Тираническое ограничение общественного мнения Ибсен противопоставил не только право необычной личности на существование, но и ее явное превосходство над бездумным стадом. Но это слишком ограниченная постановка вопроса, реакция только на один, ограниченный аспект социальной действительности. Подобный подход совершенно не учитывает экономическую базу и социальную структуру общества, т. е. его основы.

В конечном счете, Плеханов обнаружил в социальной среде Ибсена смягчающие обстоятельства, во многом его оправдывающие. Понятно, что сочная, самодовольная посредственность окружения вызывала у него отвращение. Но это общество, на данной стадии своего развития, не оставляло надежды на изменение путем фундаментальной, всесторонней перестройки. Как мелкобуржуазная страна на ранней стадии капиталистического развития, Норвегия в период формирования Ибсена как личности и писателя практически не имела рабочего класса. Поскольку не существовало никакой прогрессивной общественной силы, Ибсен не мог найти для своей страны выхода в политике. Поэтому он обратился к этике и стал моралистом. Его доктор Стокман обрушился не на людей вообще — и, конечно, не на пролетариат, которого еще не существовало, — а на филистерскую мелкую буржуазию, господствовавшую в обществе. Однако то же мелкобуржуазное окружение не давало Ибсену перейти от простого отрицания к созданию положительного, конкретного социального идеала. Он не мог пойти дальше обожествления свободы мысли и чистоты воли. После «диалектической» трактовки морально-интеллектуальной ориентации Ибсена Плеханов не смог удержаться от неисторической, но характерной поп sequitur [непоследовательность — лат.]. Свобода мысли и чистота воли, которые воспевает Ибсен, в высшей степени похвальны: «Но политики здесь нет ни одной капли. А БЕЗ ПОЛИТИКИ НЕТ И СОЦИАЛИЗМА»<sup>66</sup>.

Практически во всех работах Плеханова по искусству можно найти тонкие наблюдения. Но читая все его произведения в этой области, испытываешь все меньше и меньше удовлетворения. Эта парадоксальная ситуация отражает двойственность плехановского подхода к феномену искусства. Анализ искусства с позиции социологии сделал возможными много захватывающих и ценных открытий. Однако рамки социологического подхода оказались слишком тесны. Прямо отвергнув прокрустово ложе идеалистической эстетики, Плеханов втиснул все искусство в прокрустово ложе марксистского исторического процесса и классовой борьбы в соответствии с fazами развития. Даже в руках такого талантливого исследователя, как Плеханов, эта особенность метода не могла, в конечном итоге, не сделать изложение скучным. Кроме того, подобная ограниченность метода не позволила должным образом оценить всю гамму выразительных возможностей искусства, что со всей очевидностью проявилось в его сомнительных оценках импрессионизма. С другой стороны, данный метод обеспечивал практическую автономность эстетического суждения — обстоятельство, более или менее освобождающее критика, по крайней мере, в одном отношении. Плеханов сумел использовать эту свободу, ибо ценность его критических суждений во многом, несомненно, связана с его личным высоким эстетическим вкусом. В принципе, он никогда не подчинял эстетику пользе. В том, что касалось цельности уровня художественного воплощения, его критика была одинаково беспристрастной как по отношению к политическим врагам, так и к друзьям.

Эта «объективность» плехановского метода, его *намеренное нежелание* поступаться эстетикой ради утилитарных целей определили его судьбу в СССР. С наступлением тоталитаризма в конце 1920-х годов критический метод Плеханова, до того времени преобладавший, был подвергнут суровым политическим нападкам и «исправлен»<sup>67</sup>. В задачу новой критики входила необходимость устранения серьезного препятствия — возможности обличить художником любого автора, сущность и идеи которого невозможно было скрыть за положением о том, что автор доказывал свои логические аргументы «не в научных исследованиях, статьях, но в романах, повестях и театральных пьесах»<sup>68</sup>. Кроме того, Плеханов прямо высказывался против превращения музы художника в «государственную музу». Когда это происходит, заявлял он, в искусстве появляются самые очевидные признаки упадка, оно теряет большую часть своей правдивости, силы и привлекательности<sup>69</sup>. Вместе с тем, осуждение эстетического подхода Плеханова говорит не

столько о полной объективности его метода, сколько о безоговорочности советского требования подчинить искусство политике.

В сущности, Плеханов немало обманывал себя, полагая, что его эстетическая оценка беспристрастна и научна. Можно привести массу примеров, когда, при всех замечаниях в обратном, его оценка отдельных произведений была ближе к осуждению, чем к объяснению. Что еще важнее, для Плеханова было невозможно развести социологические и эстетические оценки. Они постоянно сливались, и с одним неизменным результатом — подчинением эстетической оценки политическим пристрастиям. Искусство должно быть правдиво в изображении реальности — так гласил один из основных пунктов эстетического кодекса Плеханова. Но его критика пронизана убежденностью в том, что только марксистская точка зрения способна проникнуть в социальную истину и постичь во всем ее многообразии. Поэтому, как бы талантлив ни был художник, его творчество никогда полностью не будет отвечать плехановским меркам, если он не смотрит на мир сквозь очки марксиста. Большая часть его критики, как показывает анализ творчества Ибсена, посвящена доказательству того, что художник, не постигший великой «истины» своего времени, не в состоянии полностью реализовать себя.

Эти выводы особенно верны в отношении оценок Плеханова современного ему искусства, так как его работы, посвященные более ранним периодам, ближе приближаются к той беспристрастности, за которую марксистский критик так ратовал. Конечно, Плеханов отвергал обвинение в том, будто он считает, что художники «ДОЛЖНЫ» вдохновляться борьбой за освобождение рабочего класса<sup>70</sup>. Однако, в сущности, он признал это обвинение, написав: «...Можно с уверенностью сказать, что всякий сколько-нибудь значительный художественный талант в очень большой степени увеличит свою силу, если проникнется великими освободительными идеями нашего времени»<sup>71</sup>. Он не мог скрыть разочарования в том, что подавляющее большинство художников такой потребности не испытывают. Совершенно ясно, что социологические концепции Плеханова все же оказывали влияние на его эстетические оценки. Но, если в некоторых отношениях критические статьи Плеханова не решают поставленных задач, в них можно почерпнуть много полезного специалистам, профессионально занимающимся художественной и литературной критикой, как марксистам, так и не разделяющим марксистских убеждений.